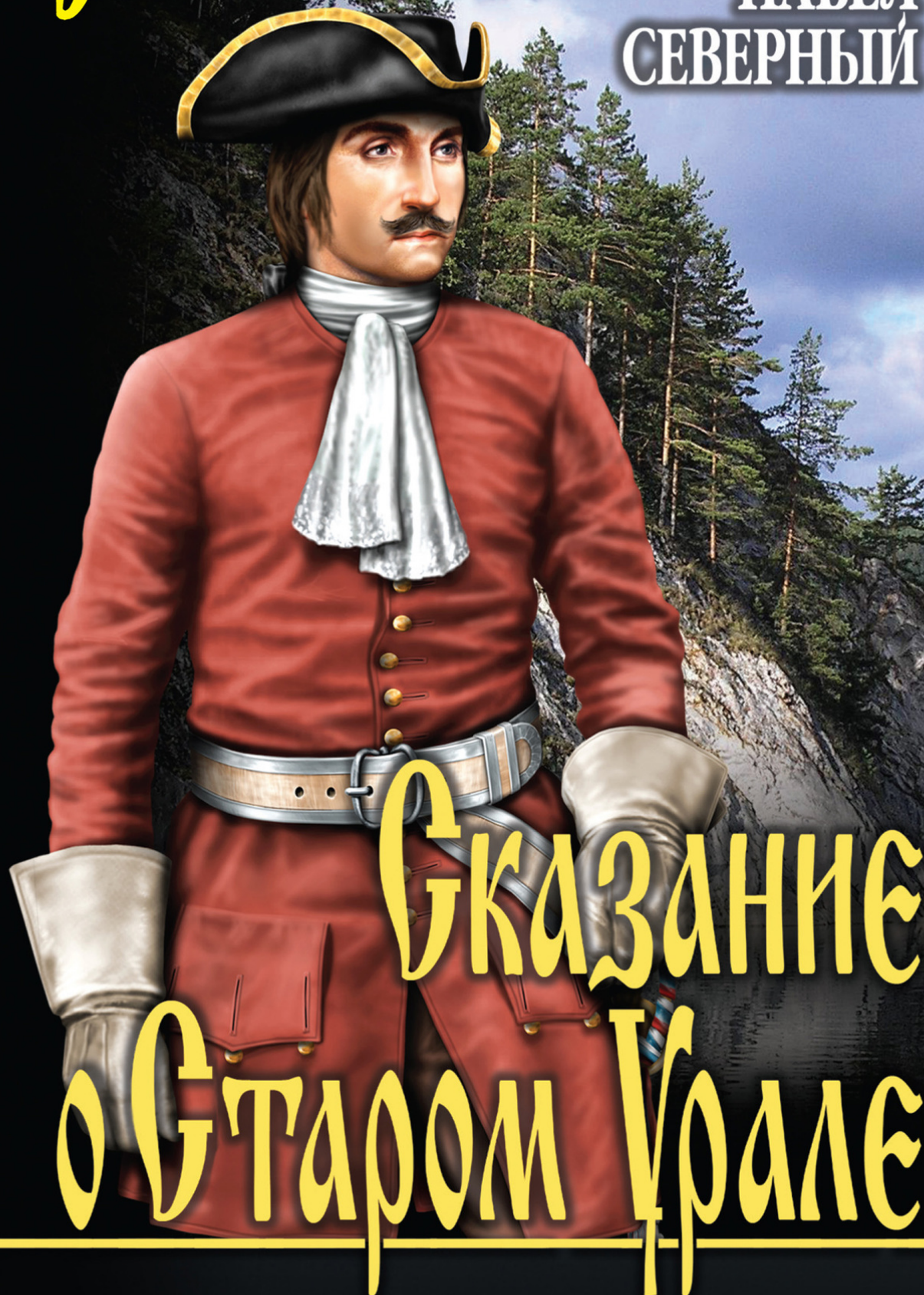


СИБИРИАДА

ПАВЕЛ
СЕВЕРНЫЙ



Сказание о Старом Урале

Сибиряда

Павел Северный
Сказание о Старом Урале

«ВЕЧЕ»

1969

Северный П. А.

Сказание о Старом Урале / П. А. Северный — «ВЕЧЕ»,
1969 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7709-6

Уральские горы – Каменный пояс – издавна привлекали наших предков, привыкших к вольным просторам Русской равнины, своим грозным и таинственным видом и многочисленными легендами о богатствах недр. А когда пала Казань, ничто уже не могло сдержать русских первопроходцев, подавшихся осваивать новые земли за Волгой. И седой Урал, считавшийся едва ли не краем земли, вдруг оказался всего лишь вратами в необъятную даль Сибири...

ISBN 978-5-4484-7709-6

© Северный П. А., 1969

© ВЕЧЕ, 1969

Содержание

Книга первая. Рукавицы Строганова. По камским и чусовским сказаниям и преданиям	6
Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	6
3	9
4	10
Глава вторая	14
1	14
2	14
Глава третья	20
1	20
2	24
3	26
4	27
5	33
6	35
Глава четвертая	38
1	38
Глава пятая	46
1	46
2	46
3	48
4	52
5	55
Глава шестая	60
1	60
2	61
3	66
4	71
Глава седьмая	72
1	72
2	74
3	75
4	77
Глава восьмая	79
1	79
2	81
3	81
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Павел Северный

Сказание о Старом Урале

© Северный П.А., наследники, 2009

© ООО «Издательство «Вече», 2009

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Олегу Дмитриевичу Коровицу посвящаю

Книга первая. Рукавицы Строганова. По камским и чусовским сказаниям и преданиям

Часть первая

Глава первая

1

В шестнадцатом веке на Великую Русь, с таким трудом собранную воедино, снова пришло глухое время – волчье по злобе, лихое по делам. От негладанных напастей доброму человеку только поспевать было крестить лоб.

Четвертый на Москве Иоанн в припадках покаяния, кликушествуя, сменял бармы царя Московского и всея Руси на монашескую рясу. Безумствуя от страха за свою жизнь, царь, по прозвищу Грозный, учредил Опричный двор и с болезненной подозрительностью готов был в каждом русском человеке видеть изменника престолу и своего врага.

Народ, замирая сердцем, следил, как пестро наряженная царская опричнина по воле богобоязливого царя чинила суд и расправу над неповинными любых званий и сословий. По всей многострадальной, святой и грешной земле темная царская ненависть бродила в обнимку со смертью. Лютый праведж распатывал неокрепшую слитность всея Руси...

Тугое было время на ее просторах!

На Каменном поясе, в отдаленном крае Перми Великой, в новых вотчинах Московского государства, по горным, лесным чащобам звенели не одни топоры – случалось звенеть и булатным клинкам о щиты и кольчуги.

С виду в замиренном крае стало как будто покойно, но тот, кто жил в нем издавна, умел прислушиваться к шуму его вольных лесов, тот понимал, что эти заколдованные шаманами заповеданные леса рады не всякому пришельцу с широких дорог Великой Руси.

Как только языческие племена древней Заволоцкой Чуди и Приуралья – вогулы, зыряне и более поздние пришельцы, татары, дознались, что в самой Московии забродила вражда царя с народом, покатались по всей Перми Великой волны восстаний и разбойных набегов.

Кострами запылали города, посады и сторожевые остроги на Каме, Вишере и Колве.

Вожди вогульских племен и шаманы, нагайские князьки – татары пытались выгнать, выкурить из лесного царства ненавистное, насильно навязываемое им христианство, скинуть бремя власти московских воевод – кормленщиков. Кровью окроплялись лесные тропки-дорожки, низинные и горные, болотные и поречные, мокрые и сухие...

2

Над уральским Севером взошло июльское солнце 1566 года.

В верховьях Камы, Вишеры, Колвы и Печоры на вершины лесных великанов наплывал с востока розовый свет.

Солнце неторопливо будило леса от сонной истомы, угоняло ночной мрак в царство тундры, к Студеному морю.

В чердынских лесах за селом Ныробом могучие кедровники перемежались по берегам Колвы с сосновыми борами и еловыми чащами.

Там – первобытная глушь. Тянутся ввысь многосаженные стволы с седыми патлами лишайника-бородача. Деревья так жмутся друг к другу, что солнечному лучу порой не одолеть этой тесноты, потому и застаивается в ней вечная мгла сумерек, сизая, как перо голубя. Доносит оттуда утренним ветром только посвист рябчиков, глухариное бормотание и барабанную дробь дятлов.

Труден дальний путь по эдаким дебрям!

Иванко Строев пробирался по ним не день и не два, преодолевая страх перед чащобной глушью, мучительный голод и тяготы бездорожья. Где случалось в борах ровное место, Иванко для поддержания бодрости даже пробовал петь, набирая всей грудью дух соснового ладана...

Иванко – парень видный, широк в плечах и ростом под стать иной лесине. На нем холщовая рубаха, подпоясанная сыромятным ремнем. Трепанные штаны с заплатами на коленях. Густые русые волосы примяты овчинным треухом. На ногах драные лапти. Топор за опояской. Борода по молодости лет еще слабовата, а котомка за спиной и вовсе тощая.

В лесных низинах, над настилом из сопревшей хвои еще не разошлись белесые кудели тумана, а от них тянет сырым холодком. Иванко зябко поводит плечами. Опять пришлось коротать ночь на ветках матерой ели, под крики филинов и тревожащий воображение хруст валежника. С тоской вспоминалась недавняя жизнь в приволжском селе.

Из родных мест Иванко ушел от царских опричников по весне, когда она еще только начинала грязнить белизну зимних сугробов. Пятый месяц длится его странствие в камский край.

Голод донимал парня. Последние сухари он съел вчерашним утром. Кончились третьи сутки, как он вышел из села Искора, держа путь на Чердынь, и парень не мог понять, где и когда он потерял направление и заплутался в этом страшном лесу. Неужто так и не выйти ему к реке Колве?

Нынче утром Иванко снова решил держать строго на восход. Хвойный настил похрустывал под ногой, как снежок в морозную ночь. Местность постепенно понижалась, лес редел, в чащу стали протягиваться косые нити солнечной пряжи. Впереди – поляна с молодыми елочками. Он было побежал по ней и тут же остановился, радостно изумленный: перед ним, под крутым косогором, играла бликами речная вода!

Еще не веря своим глазам, Иванко проговорил вслух:

– Неужто Колва?

И тотчас уверил себя:

– Так и есть! Колва это, слава те осподи!

Истыканный сухостоем, поросший елочками и березняком речной мыс заставил Колву изогнуться подковой. За поворотом река образовала болотистую заводь. Глинистый косогор возле заводи расколот надвое лесистым оврагом. По его дну из-под вековых завалов бурелома, мимо кочек с незабудками и морошкой, бежит в заводь шустрая, вспененная речка.

Ветры и оползни уронили на склоны оврага немало кедров и елей. В самом устье речки торчат из воды давно затонувшие лесины. Их голые, черные сучья похожи на частокол.

Поодаль Иванко разглядел на реке плоты, а на обоих берегах дымные костры. Ветер доносил оттуда по воде людские голоса и перестук топоров.

– Мать честная, да никак там народ! – Парень на радостях высоко подбросил треух, поймал его на лету и припустился было бегом по склону оврага. Но впереди сильно плеснула вода заводи и зачавкала за кустами болотная жижа. Уж не медведь ли?

Парень проворно схоронился за елками и сразу вздохнул облегченно: из темной щели оврага, все еще окутанной туманом, спугнув стайку чирков, вышел крупный сохатый, вынес на сошниках рогов обрывки тумана и целый рой гнуса. Мотая головой, он пытался скинуть с рогов пряди лишайника, счесанного с деревьев.

Сохатый постоял среди незабудок, отряхнулся и побрел, шумно бултыхая водой, к самой быстрине речки, где прорыла она себе тропку среди плывунов и кувшинок. Опустив морду к воде, лось дыханием раздул-разогнал с нее утонувших ночных мотыльков и начал пить, мягко причмокивая губами.

Иванко долго смотрел на лося. Бурая с густой сединой спина обильно полита росой: с поджарых боков еще скатываются блестящие капельки. В надбровных дугах лишаями налипла мошкара, а возле ушей, у рогов, сизо-красными бусинами свисали вздувшиеся клещи.

Пока сохатый несколько раз окунал голову, чтобы смыть с глаз мошкару, в овраге хрустнул валежник, и из кустов тальника, крадучись по стволу затонувшего кедра, вышла ушастая рысь. Она уже давно скрадывала сохатого в овраге, но упустила момент нападения и теперь опять с осторожностью подбиралась к великану.

Сохатый заметил врага, но не слишком встревожился: в воде рысь ему не опасна, да и слишком она далеко для прыжка.

Рысь тоже оценила и силу и опыт противника. Такой дешево не продаст свою жизнь! Скаля зубы и как бы захлебнувшись от бессильной злости, рысь закашлялась с шипением и стала тоже лакать воду.

Великан напился, не упуская врага из глаз, отфыркался, поскреб копытом речное дно, замычал и, гордо запрокинув голову, пошел мимо рыси в глубину заводи. Уже в русле Колвы он погрузился в воду и поплыл. Сильное течение сносило его к противоположному берегу, залитому солнцем. Река здесь была неширока.

Иванко подождал, пока лось не выйдет на берег и не скроется в лесу. Потом поискал взглядом рысь, но хищница уже исчезла в кустах. Тогда Иванко берегом побегал к плотам. Задыхаясь на бегу, он видел, как бородатые мужики скатывают с берегового откоса плети стволов. Громяхая, они падали в воду, а здесь, уже на реке, женщины ловко цепляли их баграми и скрепляли в плоты. Иванко невольно залюбовался на эту слаженную работу...

– Эй, чего рот разинул, как ворона в жару?

От неожиданности Иванко чуть не присел. Увидев коренастого мужика, заросшего рыжей бородой, поклонился:

– Здорово, добрый человек!

– Почем знаешь, что добрый я? Здорово так здорово. Сказывай, кого в сем месте потерял?

– В Чердынь иду. Видать, заплутался.

– Крепость пошто понадобилась?

– С Руси я.

– Сиганул, стало быть?

Несколько плотовщиков, мужчин и женщин, бросили работу и сгруппировались вокруг чужого человека.

– Сам из каких мест?

– Из-под Костромы.

– Аль тесновато стало на Волге-матушке?

Иванко насупился.

– Опричники Малютины вскорости всю православную Русь в разные стороны разгонят.

– Понятней сказывай! – выкрикнула пожилая женщина.

– Нишкни, баба! Слыхала, сбег человек из родного места. Понимать должна, что про свою беду чужакам сразу не скажешь.

Подошел к Иванку седой одноглазый человек, осмотрел парня.

– А ведь пришлец правду сказал, мужики. Лапти – костромского плетения.

– Почем узнал, Денис?

– Потому и узнал, что сам из костромского теста спечен.

– Погляди-ка, измаялся как, сердечный! – пожалела беглеца пожилая.

– Куда плоты станете плавить? – спросил Иванко у рыжебородого.

– По первости в Чердынь, а уж там – в Каму. Строганова лес.

– А вы чьи будете?

– И мы – строгановские люди. Здесь, милоч, по воле царя-батюшки всякий комар на любом болоте строгановский. И ты станешь их человеком. Для беглецов здесь они хозяева. Ты вот, к примеру, свою башку из одного хомута вытянул, а здесь сам же ее в другой всунешь. К Строгановым. Так-то, милоч!

– А опричнина у вас водится?

– Этого нету. Но худого и без нее много. Ты нас не опасайся. Под стать тебе, недавно на строгановские земли пришли. Слава богу, что солеварами не стали.

– Стало быть, и в Чердыни они хозяева, Строгановы-то?

– В Чердыни царев воевода пузо отъедает, но все одно и он волю Строгановых выполняет, потому как и ему жизнь не чужая... Да ты ел ли седни, мил человек?

– Со вчерашнего дня голодую.

– А молчишь?

Рыжебородый мужик развязал котомку, брошенную возле костра, и вынул каравай ржаного хлеба. Переломил пополам о колено, подал Иванку половину:

– Ешь! – Потом покосился на сборище мужиков и баб, выругался: – Чего в кучу сбились, как овцы? Парней, что ли, не видали? Слыхали, что сказал?

Плотовщики нехотя разошлись, работа на реке возобновилась. Только кривой старик Денис не ушел от костра. От сухого хлеба у Иванка запершило в глотке. Он собрался к реке, зачерпнуть воды. Кривой остановил его.

– Из котла налей ягодного взвару, коли сухомятка не в охоту. Водица родниковая, а взвар – на пчелином меду.

Пришелец ел не торопясь. Горячий, душистый ягодный взвар на меду он осторожно прихлебывал из оловянной кружки. Так неторопливо и степенно едят люди, знающие себе цену.

– Поем, попою – пойду бабам пособлять плоты вязать.

– Нешто кумекаешь в нашем деле? – заинтересовался рыжий.

– Наш род от прадедов по плотницкому мастерству. Аргунами нас владимирцы и ярославцы кличут, да не простыми, а корабельными. Лодки да струги на Волге спокон веков ладим.

– Правду ли баешь? – недоверчиво переспросили кривой и рыжий в один голос.

– Право слово. Хоть сейчас дублянку излажу.

– Да ты, свет, для наших мест человек золотой. У Строгановых в коренниках пойдешь, они плотников берегут. Одним духом тебя в Чердынь к Досифею доставим.

– А он кто?

– Досифей-то? Тень от Семена Строганова на земле камской. Ешь до сытости. Вечерком уж обо всем тебя расспросим. Досифей нас с Денисом старшими поставил. Меня Федором Рыжим зовут, плоты к сплаву готовлю; а Денис Кривой с плотами ходит. Памятуй крепко: нас опасаться неча!

3

Светило солнце и над царской крепостью Чердыню, что на Колве, играло на церковных крестах. Колокольный звон к ранней обедне распугал галок; крикливыми стаями они кружились над синими и зелеными луковицами глав. Лесное эхо подхватывало звоны и с переливами несло вдаль. Только соборный большак колокол гудел с дребезжанием с тех пор, как зашибся и дал трещину: в пожар 1535 года он упал наземь. То был пятый по счету пожар, запаленный сибирскими татарами при набегах на чердынскую крепость.

Древний город после каждого пожара возрождался заново, постепенно переползая от места своего первооснования на берегу Камы все дальше, пока не уместился на высоком косогоре над Колвой. Тут, в двадцати пяти верстах от старого своего пепелища, крепость Чердынь была вновь отстроена мастером-горододелцем Давыдом Курчевым.

Оба речных берега встали здесь насупротив друг друга, как два сторожевых рубежа с каменистыми косогорами. На правом берегу – чердынская крепость, на левом щетинятся лесные урочища. Стиснутая берегами всего сажень до сорока, бежит в этом узком русле темно-зеленая вода быстрой Колвы.

4

Солнце в это утро было жаркое.

Благовест разбудил чердынского воеводу Захара Михайловича Орешникова, родовитого боярина из Великого Устюга. Воеводская изба на холме, обсаженная липами и березами, возвышается над всем городом.

Воевода накануне лег за полночь, на лежанке, во всей одежде, только тафью снял да стянул с ног красные сафьяновые сапоги. Полуночи начал старик не зря – дожидался важного события: лучшая его сука Ласка, обгуленная сибирским волком, оценилась около полуночи, и в помете из пяти щенят оказались три кобелька.

Воевода любил Ласку: сам и вырастил – получил ее крошечным щенком в подарок от заезжего вогула с устья Печоры, когда тот навестил крепость по торговому делу.

Чтобы не потревожить в поздний час покой супруги, воевода после благополучного разрешения Ласки от бремени не пошел в хоромы, а заночевал в воеводской избе. Здесь, в просторной, но низкой горнице, было душно. Сквозь изжелта-сизую слюду четырех окошек лучи солнца ложились радужными полосками на дощатый пол, хорошо отмытый дресвой и устланный половиками.

Стукаясь о слюду, жужжала оса. На воле под застрехом мирно ворковали голуби, а здесь, в углу, связанные пучками, как снопики, лежали до самого потолка связки каленых стрел, стояли прислоненные к стенам алебарды. На крючьях было развешано множество всякого оружия – русские прямые мечи и круглые щиты, татарские сабли, их колчаны и луки.

Не понравилось воеводе, что вся горница опять завалена тюками со всякими мехами, отобранными в городе у воров-грабителей. А не понравилось потому, что над тюками во множестве летала моль – может побить, обесценить дорогую и редкостную пушнину.

На лавке возле двери спал человек. Кто таков, Захар Михайлович не знал, но расположился тот в чужом месте по-домашнему и спал крепко, с похрапыванием и присвистом, словно под родным кровом. Воевода взглянул на него неодобрительно, хотел было крепко толкнуть под бок, да, присмотревшись получше, видимо, раздумал турнуть спящего... В этот миг его отвлек тонкий, слабый писк под печью: на раструженном снопе соломы лежала сука со щенятами.

Забыв о незнакомце, Захар Михайлович погладил собаку, собрал щенят в подол рубахи, ногой пихнул дверь и ступил на крыльцо. Матка тотчас же пошла следом. Воевода поднялся по скрипучей лестнице на верхнее крыльцо, залитое солнцем и овейным теплым ветром с реки. Захар Михайлович положил щенят на теплую половицу. Ласка легла и носом подоткнула всех пятерых щенят к сосцам. У собаки был усталый, чуть смущенный и блаженный вид.

Воевода подошел к перилам крыльца, искусно вытесанным новгородским мастером-древделом. Щурясь от солнца, он привычным хозяйским взглядом окинул крепость и город, будто проверяя, все ли в порядке после истекшей ночи.

Все глядело так же, как в день его прибытия на чердынское воеводство. Только вот синие луковицы соборных глав покрылись белыми потеками галочьего помета – смотреть срамно! Нынче же сказать владыке Симону, чтобы повелел причту убрать непотребство.

Ворота крепости распахнуты, как затвор в мельничном лотке. В них потоком вливается городская толпа, притекает к базарному торгу, к церквям и собору, вымахивает на площадь, вскипает у кабаков, царевых кружал... Широка соборная площадь – толпа на ней горланит, кони ржут, нищие ноют на паперти главного храма, а в другом конце острожники подметаю немощный край площади с плешинами лужаек. Это пленные татары, задержанные близ крепости и заподозренные в недобрых намерениях. Пока суд да дело, воевода держит их в остроге и позволяет брать на мощение дорог и разметание улиц. С алебардой на плече ходит среди острожников ратник и со скуки поднимает на крыло сытых голубей. Взлетая, они громко хлопают крыльями, будто дети в ладоши бьют...

Местность под городом и крепостью оголена, а в самой крепости, вокруг собора, жители сберегли, не порушили во время стройки, старую кедровую рощу. Огромные вековые деревья обступили собор так тесно, что сверху, с гульбища воеводской избы, Захару Михайловичу видны только купола и кресты.

У Колвы-реки отсюда, сверху, просматривается только тот, противоположный, берег и самый речной стрежень; вверх и вниз реку видно до синих туманных далей, насколько глаз хватает.

Сейчас, когда солнце поднялось выше и туман над рекой подсох, можно видеть великое множество плотов: и на причалах стоят, и мимо города плывут, с рублеными избушками плотовщиков на плавучем бревенчатом основании.

Все – лучший строевой лес с верховьев Колвы, где лесорубы свалили его в печорских борах.

Плоты Аники Строганова!

Если окинуть орлиным взором все земли Перми Великой, можно на всех реках углядеть строгановские плоты.

Здесь, на Колве-реке против Чердыни, от плотов всегда затор. Для торговых судов – баркасов и шитиков – даже места не хватает у городских причалов, приходится чалиться далеко, версты за две ниже города.

Торговля в Чердыни идет сейчас пустяковая – рыбой, солью, рогатым животом, щепетильным товаром, медом, посудой, одежей-обувкой и всяческой снедью, не боящейся порчи.

Богатеет-то город от пушнины, а ее везут позднее, уже санным путем: глубокой осенью, зимой и ранней весной. Но и в тихое летнее время на торгу всегда суета, толкотня и пестрота людская.

Куда ни устремляй взгляд с верхней воеводской галереи-гульбища – везде, по всему окаему, синеют извечные леса Перми Великой. Порубками они отодвинуты от города на версту, и лишь прибрежный лес на том берегу Колвы отстоит от городских стен сажен на полета.

Чердынские леса – темные, колдовские, даже не всяким зверем исхоженные. Вечно таят они угрозу для горожан, укрывают супостатов Московского государства. Хребты и увалы Рипейских гор, как медвежьими и волчьими тулупами, прикрыты дремучими дебрями, – только в редких местах они опалены пожарами и повытерты временем. Глухие овраги и урочища завалены упавшими сухими лесинами – этот бурелом скрывает роднички и истоки речек, делает местность почти вовсе непроходимой. И над всеми этими урочищами, всегда прикрытый дымкой тумана или легкими летними облачками, поднимается к небу величественный Полюдов Камень.

Воевода привык к этим лесам, умеет даже по цвету угадывать их породы. Темные, припачканные синькой и сажей леса – это сосновые и кедровые боры; зеленовато-седые – это леса лиственничные, а ярко-изумрудные с синим отливом, как у тетеревиного крыла, – урочища

еловые и пихтовые. Со стороны северной Чердынь окружают леса Искорские, с юга подступают Кайгородские и Соликамские, на западе – Вычегодские, иначе Вятские, а с востока простираются бескрайние Вишерские и Сосьвинские, самые глухие и вовсе необжитые, как за хребтом, в самой кучумской Сибири. Этими-то лесами и вьется торговая дорога в Сибирское царство. Протоптавшие ее некогда новгородские торговые люди прозвали эту дорогу Волчьей тропой...

Крепость свою воевода любил. Она стояла на берегу Колвы трудно, а горожанам в ней – не тесно, просторно. За крепостной стеной по земляному валу, утыканному кольями, пробился из земли молодой кустарник и свежая еловая поросль. Каждую осень ее вырубают, а за лето эта зеленая поросль вырастает вновь, что волос на бритой бороде!

Крепостные стены сложены из бревен «тарасами», то есть готовыми срубами. Проемы между двумя рядами бревен засыпаны землей и заложены бутовым камнем. Высота вала и стен – семь сажен, а сторожевые башни со всполошными, набатными колоколами – того выше.

Ворот в крепости – четверо: северные ведут в новгородский посад, южные выходят на Соликамскую дорогу, восточные – на самую глухую окраину, где живет по низким избам работный люд. Западные ворота издавна заколочены наглухо. С верхнего крыльца воеводе слышно, как архиерейский служка чистит владыкины обутки под окнами архиерейских покоев и переругивается с дворовой бабой. Та визгливо кричит что-то невнятное, а служка басом отчеканивает: «Ох и дура же ты, бабонька, что ни на есть самая бестолковая!» Того гляди, перебранка эта разбудит боярыню: Захар Михайлович замечает, что в его опочивальне отворенные окна еще прикрыты занавесками. Значит, не вставала с постели его Аннушка-сударушка...

Архиерейские покои и боярские хоромы здесь, в крепости, волей-неволей расположены почти рядом, невдалеке от воеводской избы.

По лестнице застучали кованые сапоги. На верхнее крыльцо вышел однорукий телохранитель воеводы Гринька Жук. Еще под Казанью сражался он бок о бок со своим боярином, не посрамил русского знамени в кровопролитных боях. Тогда и укоротила ему левую руку по локоть татарская сабля...

– Глянутся? – Воевода указал Жуку на щенят, сбившихся в кучку подле матери.

– Добрые волчьи детки. Вон тот, с отметиной на ноге, больно хорош, боярин.

– Все на один лад. Кто это в горнице на лавке сон вяжет?

– К боярыне гонец от Строганова. Семен Аникеевич гостинцев ей с Вишеры прислал.

– Когда прибыл?

– Уж светать начинало.

– Гостинцы где?

– В хоромы я их стащил. Глашке велел, чтобы боярыне показала, как только ото сна восстановит... Кваску не выпьешь ли, боярин?

– Квасу не надо. Кринку молока принеси и свежего ржаного хлеба.

Жук удивился:

– Уж не занемог ли, боярин?

– Неси, неси. Поутру оно и здоровому – в охотку. И Ласку поить станешь... А то совсем матку изнурят. В рост всех оставить!.. Слышишь?

– Слышу, – ухмыльнулся слуга. – Едоки добрые будут!.. Ишь какие волчата! Любо смотреть!

Жук снова застукал сапогами по лестнице. Воевода задумался; кустистые седые брови совсем прикрыли глаза... «Так, значит, Семен Строганов гостинцев боярыне прислал-» Проговорил вслух:

– Зачем Аннушке его гостинцы? Небось у нее из моих рук всякого добра вдосталь!

Сказал и पुще наморщился. О многом вспомнил, будто из рук выронил шкатулку памяти, а из нее рассыпались-раскатились все бусинки прожитого, перевиденного...

Седьмой год воевода коротал в Чердыни, а прибыл сюда из Москвы без малого на шестидесятом году. В крепости подумывать стал на досуге о прошлой жизни, а досуга у него – девать некуда. Думал, как овдовел в молодые годы и не мог позабыть кроткую подругу-покойницу. Старался уйти от докучливой тоски по ней, служа царю Ивану в самые те годы, когда царией была Анастасия, в девичестве Юрьева-Захарьина. Думал, как старился бобылем и только после покорения Казани женился на молоденькой новгородской красавице, испросив у царя дозволения уйти на покой. Царь желания его не исполнил, послал в Чердынь.

Приняв власть над крепостью и городом, воевода ретиво занялся его благоустройством и украшением. Принялся наводить новые порядки, однако скоро утомился. Надоело хлестать по мурлам пьяных дьяков, отучая от лихоимства; помогать владыке Симону в спорах о силе христовой веры с вогульскими верховными шаманами и князьками; опротивело разбираться в тяжбах хитрых купцов, падких на сутяжничество, но больше всего опротивело приводить в разум посадских людишек, подводить под мерку царского закона бродяг и воругов.

Мечтал воевода прославить себя и дружину ратными делами. Но набегов покамест не случалось, про Чердынь с ее богатствами лиходеи будто забыли, и только изредка у стен города воеводские ратники ловили черемисов и татар из Сибири, но больше зряшных, неспособных чинить крепости вред.

За семь лет от сытной пищи воевода ожирел и стал при ходьбе задыхаться, как запаленная лошадь. Все труднее делалось держаться в седле, а под боком – молодая жена, женщина гордая, капризная, властная. Желанного покоя с ней не было.

Не было покоя и во всем крае за пределами крепости. Баламутила его молва об Анике Строганове. Все было куплено его деньгами и плясало под его дудку.

В спор со Строгановыми воевода не вступал, понимая, что спорить с ними нельзя, а надо дружбу водить, если не надоела жизнь.

Со всем смирился воевода. Даже жене ни слова не говорил про частые наезды Семена Строганова с ночевками, потому что Аннушка все равно гостю от дома не откажет. Боялся он, чтобы слух о его недовольстве не дошел до ушей Семена Строганова, ибо знал, что даже за это можно поплатиться жизнью. А кто и как – отравой, стрелой или кистенем уберет со свету – не дознаешься, и следа не найдешь: кругом леса, а в них любые следы не знатки.

Нет острее муки, чем боль ревности. Рысьими когтями царапала она сердце воеводы: бродили по городу сплетни про греховность молодой боярыни. Шептали, что не зря зачистил в Чердынь Семен Строганов. Но и с этим приходилось смиряться – на все рты платка не накинешь даже властью воеводы. Просто силился не вникать, не верить наговорной мути. При горожанах суровость на себя напускал и знал только про себя, что больше всего любит полюбоваться Чердынью вот с этого крыльца, поиграть в городки с владыкой Симоном да изредка не прочь пображничать с проезжими купцами, если из значащих, именитых. Вот так и коротал жизнь, утешал себя тем, что в Чердыни все же он хозяин, а не Строганов. Хозяин... да только за стенами своих хором, а не в самих хоромах.

Голос Жука вывел воеводу из задумчивости. Слуга на этот раз был бос.

– Глянь-кось боярин, какую кринку выбрал. Мороз в молоке. Покуда донес, вся кринка бархатом обнялась.

– Обутки, вижу, снял?

– А как же? Грохоту в сапогах много. Макаровна хоть и старица, а слухастая. Выходит, боярин, что для тебя мне иной раз и татем обернуться случается. Пей на доброе здоровье.

Глава вторая

1

С утра моросил не по-летнему мелкий дождь.

После полудня в крепость наехал московский гость – новый Соликамский воевода Запарин Дементий Степанович.

Пала на Чердынь мокрая ночь и все упрятала в запазухе непроглядной черноты...

2

В трапезной воеводских хором стол накрыт парчовой скатертью. Свечи в медных свешниках уже оплыли, закапали подставки в виде орлиных лап. Желтый свет падает на два лица, красных и потных от хмеля. От обеих голов и высоких стоячих воротников на бурых бревенчатых стенах ворошатся тени, как взмахи вороньих крыльев.

На столе глиняные миски с остывшей стерляжьей ухой, подносы с пирогами, ломтями хлеба, оладьями, плоские тазы с засолами и холодным мясом, пареная осетрина с инбирной подливой.

На серебряном блюде – остатки съеденного индейского петуха. Дубовый, в позолоченных обручах, бочонок с можжевельным медом, два ковша меду смородинового, кубки заморской романей и темно-красной мальвазии опустели наполовину. Слуги отпущены – беседа не для холоповых ушей.

Собеседники, насытись, распоясались и отпустили парные застёжки камзолов под кафтанам. Ближе к свету – хозяин, облокотился на стол. Против него – гость, Соликамский воевода Запарин, развалился в кресле с высокой спинкой, обитой волчьей шкурой, придавил тяжелым сидением подостланную пуховую подушку малинового бархата.

Время позднее. Над хозяином хмель все еще не взял полной воли, и только в глазах нет-нет и появится слезливая пелена сонливости. Зато гостя хмель облапил крепко, и оттого про-скальзывала во взгляде его плохо скрытая хмурость. Угадывались за нею недобрые помыслы, готовность творить злое дело повелительным словом и своими руками.

У Запарина сползла на затылок с потного темени голубая бархатная тафья, униженная шитым жемчугом. На его отечном и морщинистом лице землисто-бледную кожу пробивала краснота прожилок, и на ней пятнами серели темные подглазины. Нос у Запарина мясистый и горбатый, похож на клюв филина.

Наевшись до отрыжки, собеседники чаще и чаще приумолкали: оба знали, что, охмелев, начнут, чего доброго, говорить совсем не то, о чем вели беседу, садясь за стол.

Хозяина нежданный приезд гостя взволновал, разворошил память обо всем, от чего заслонился он в Чердыни непроходимыми звериными лесами. Печаль охватила от недобрых вестей про дела в Москве-матушке. Не понравилось и то, что Запарин будет жить у него под боком. Гостя своего, Дементия Запарина, он знал хорошо! Темное любит, особенно если оно звонкую прибыль посулить может, любит нашептывать небылицы, оговаривать добрых людей за глаза, а в глаза лестью выстилать хитрые подходы к собеседнику.

Вот и за трапезой он говорил об одном, а думал о другом, и все время, как шилом, исподтишка покалывал Орешникова взглядом прищуренных, будто простодушных глаз, но всегда таящих настороженность.

В раскрытые окна донесся шелест листвы от налетевшего речного ветра, и собеседники прислушались, как звучно забулькали капли дождя в лужах.

– Шибче пошел. Поутру моросил, как по осени.

– Тоскливо у тебя, Михайлыч, в мокреть?

– Мыслями о сем себя не нужу. Иной раз бывает, особенно в пору, когда волки выть начинают. Подойдут под самые стены и воют. Но ничего! Я ко всему приобык в Чердыни.

– Вижу, что приобык. Экое клятое место: лес да небо! Поди, и звезд-то ладом не увидишь?

– Об этом напраслину говоришь. Звезды здесь особенные. В Москве таких нету.

– А чем они от московских разнятся?

– Больно много их, да и яркости необыкновенной.

– Поживу – погляжу.

– Понимать велишь, что любишь небесными светилами любоваться?

– Люблю на звезды глядеть. Охота мне дознаться, какой это в них огонь возгорается?

Люди всякое про звездный огонь говорят, а мне охота самому дознаться. Как думаешь, есть тепло от звездного огня?

Хозяин посмотрел на гостя, покачал головой, засмеялся.

– С чего это разом развеселился?

– Смеюсь оттого, что ты, Дементий, мастак людей спрашивать про никому не ведомое.

– Нет, ты постой, постой, от ответа не уходи. Греют ли нас звезды небесные?

– Не ведая, ничего сказать не могу. Звезды высоко, и лап до них не дотянешь даже с маковки Полюдова Камня.

– А я все равно хочу дознаться. И дознаюсь обо всем про звездный огонь.

Запарин, не глядя, протянул руку и, гребнув было попусту горстью воздух, поймал чару с медом, пригубил и поперхнулся. Искрясь на свету, пролитый мед зернышками-капельками скатился с рыжей бороды. Запарин обсосал замоченные усы и поставил чару на стол.

– Вот как высветлело-то в нашей жизни, Михайлыч. Повстречались мы с тобой снова в клятом краю, да еще оба на той же службе царю.

– Это верно. Повстречались нежданно и негаданно.

– Примечаю, что встрече со мной душой ты не рад.

– Про зряшное речь ведешь.

– А ты прислушайся все же. Плохого ничего не скажу, но попрекнуть тебя дружеским словом осмелюсь. Обидно мне за тебя.

Запарин скрипнул зубами, даже кулаком себя по колену хватил.

– Обидно! Сколь годков не виделись? Все двадцать! В разных местах жили. Ты с царем Казань покорял, а я новгородцев московскому порядку учил, в мозги его там вдалбливал. Полагаешь, раз убрался на чудскую землю, можно о дружках и недругах позабыть? Ан, вышло по-иному. Я вот возьми и объявись перед тобой в новом обличий, и тоже в воеводском звании... В голове у меня больно шумит от твоего меду, вот и скажу: жаль мне тебя, Михайлыч. Не тот ты теперь боярин. Будто сокол, петухом обряженный. Не серчай за правду, хотя она и колючая. Помню, каким ты был. Ухарь мужик. Сухопарый. Могучий. Голову держал вот эдак, жиром не оплывал. А теперича... Да и разобидел ты меня седни!

– Чем?

Орешников убрал локти со стола и прямо взглянул в глаза собеседнику.

– Только не серчай.

– Сказывай.

– Ишь как злобишься – язык обсох от суровости, промочил бы... Скажу так: скрытностью своей меня обидел ты! Про что ни спрашиваю тебя – все ты с дороги в канаву воротишь. Речь со мной ведешь при свечах, а будто в потемках на большой дороге с чужаком разговариваешь. Будто я не воевода Соликамский, а тайный углядчик подосланный, а то, может, доносителя подлого во мне опасаясь?

– Воевода Соликамский...

– Ты погоди! Высоким званием незнатного рода моего не прикрывай. От этого у меня башка кругом, как у филина, не завертится.

– На все спрошенное ответы слышал.

– Да, только не больно ясные. Пошто от друга давнего правду утаиваешь? Может, слухок про меня какой дошел из неправедных уст? Потому от завидок моему почету в Москве у иных, из вашего боярского сословия, горло перехватывает. Думаешь, не знаем в Москве, что в подвластных тебе лесах крамольники царские хоронятся, как тати, да про честных царевых слуг, вроде меня, хулу распускают? Сюда, окаянные, от царского гнева, как тараканы бегут, будто для них, треклятых, новгородцы тропинку в Сибирь протоптали. От своего царя убегают к ханам татарским да под крылышко Строгановых прячутся, чтобы голову от плахи уберечь. Все знают на Москве про этот край. Царь тоже знает. Только ему сейчас недосуг вашей крамолы заниматься. Ему сперва надо в Москве многих на голову укоротить. Понимаешь, о чем речь веду, боярин?

– Как не понять. Ты, стало быть, по отрубленным боярским головам, как по кочанам капусты, к царскому престолу шагаешь?

– Чего сказал?

– Про то, о чем услышал.

– Ты мои слова неверно в разуме уместил.

Запарин встал, но его качнуло, и, упираясь руками в стол, заговорил сдавленным шепотом:

– Правду от моих ушей таить нечего! Не за тобой мне здесь доглядывать приказано. В строгановские места царем послан волю московскую утверждать, купчишку вычегодского осадить, от зазнайства вылечить, на правильное место поставить. Скажи мне по совести: отчего Соликамский воевода зимусь в райские сады к угодникам отселя отправился? Сам помер али помог кто?

– Не многое про то известно. Любого на свете могила ждет, но все одно живые про нее говорить не любят. Лег в нее по воле господней – и позабыт в сем мире. Лишь бы в поминальнике у попа записан был. Счет упокойникам в нашем крае не ведут, потому с правильного счета все равно собьешься. Охота тебе знать, как помер воевода Гаврилов? Да просто: сел за стол трапезничать, после еды занемог. От стола до постели на карачках дополз и кончился.

– Трапезничал где?

– Дома.

– Строгановы порешили?

– А почему на них подумал?

– Причину имею.

– Скажи.

– Доносил покойник царю, что Строгановы беглых бояр с холопами к себе на службу принимают, богатства отнимают, не в казну сдают, себе прикарманивают. По доносу выходит, что Строгановы царской воле ослушники.

– Поверил царь доносу?

– Кто же знает о том? Сдается мне только, что купчишкам Строгановым государь больше веры дает, чем вам, боярам, и нам, первым слугам царевым, милостью его за верную службу должностями высокими пожалованным. В вас, боярах старых, он, батюшка-государь, теперь ворогов своих видит, да и к нам, служилым, переменчив бывает – к каждому приглядываться некогда! Случится, что ухо свое царское к напраслине какой преклонит – и голова с плеч у нашего и у вашего брата. А купчишке этому – почему-то – вера, да какая! Донос-то про воеводину смерть царю доложен, а купчишка и поныне по белу свету гуляет, ничего ему не сделалось.

Желая переменить тему, Орешников спросил, каково стало житье при дворе московском после смерти царицы Анастасии. Про попа Сильвестра и опального Адашева он решил и не помянуть.

Запарин подмигнул, собрал губы и морщины у глаз в хитрую улыбочку, снова потянулся за кубком.

– Житье-то... сладкое, особливо красным девкам и молодцам. Нынче, ежели хочешь кому из высших советников царских угодить и у самого государя в милости пребыть, посылай за этой милостью дочь, коли молода, или супругу, коли пригожа... Только ты, Михайлыч, опять меня с дороги увел...

Орешников отшатнулся от собеседника при словах его о похоти бесовской, что овладела державным государем Московской Руси, но Запарин вернулся к делам здешним, отвлекая хозяина от забот московских.

– Чьею же рукой Строганов воеводу Соликамского ядом опоил?

Собеседники не заметили, что в этот миг обозначилась в дверях статная женская фигура. Боярыня Анна Павловна Орешникова шла в трапезную, чтобы хозяйским глазом окинуть стол и заказать слугам перемену блюд, да вдруг на пороге так и замерла, услышав последний вопрос гостя. Замерла, словно срослась с дверным косяком. Обернись кто из беседующих, смог бы углядеть, как в настороженных ее очах шевелятся искорки от пламени свечей... Но ни тот, ни другой не заметили присутствия боярыни.

– Про то у него же и спроси, небось сам теперь воевода Соликамский, – не скрывая в голосе насмешки, ответил боярин.

– Что ж не спросить-то?

– Смотри, Дементий, легче по новой тропе ходи. Мхами и травами в нашем краю тропы укрыты. Падать мягко, а не встанешь.

– Не пужай.

– Упреждаю, Дементий.

Запарин снова тяжело опустился на подушку в кресле.

– Не испугаюсь Строгановых. Заставлю их выполнять царский закон. Обучу закон московский чтить.

– А ты боек, куда там! Не знаешь, что и у них свой закон водится? Царь дал им этот закон по дарственной грамоте. По ее буквицам ты у них только слуга-помощник. Вчитайся в дарственную грамоту Строгановым... Просил даве меня не таиться? Теперь сам от меня не утаивайся. Я-то знаю, что ты сюда не царем Иваном послан, хотя указ его рукою подписан. Нет царю надобности выверять верность Строгановых. Знает царь, плохо ли, хорошо ли, честно ли, или воровато, но Строгановы своей кремневой волей помогают ему накрепко, на веки пришивать камский край к Московскому государству единому. Кровь людская на Строгановых не в счет: царь знает, что, землю копая, нельзя рук не замарать; сам тоже кровь ушатами льет, да в ней Русь моет. Строгановы, брат, мужики умные, а потому в рукавицах орудуют. Рукавицы у них сшиты тоже умно. Двойные они. Ближе к телу – беличий мех на сукне, но это лишь нутро. Поверх надета рукавица кожаная, красная цветом, чтобы на ней свежая кровь не была заметна, а как подсохнет, то, как грязь, сама осыпается. Строгановы на Колве, Вишере и Каме хозяева. Они Русь здесь ставят. Мы с тобой перед ними никто. У них к любой царской двери свои ключики в карманах.

Запарин поежился, хотел что-то вставить, но Орешников перебил его, повышая голос:

– Воеводствуй в Соликамске как угодно, но гляди, чтобы на твою тень чья другая не пала. Со всеми Строгановыми разговаривай: Анику Федоровича и двух сыновей, Григория да Якова, обо всем спрашивай, но лучше никогда ни о чем не спрашивай третьего сына, Семена. А коли, не ровен час, сам он тебя о чем спросит, то без промедления отвечай. Потому, все Строгановы только думают, а надуманное ими Семен на свой манер облаживает.

– До чего же, однако, нас, царевых слуг, купчишки Строгановы запугали! Ни за что не поверю, что я, московский воевода, из опричнины, царем посланный, не волен спрашивать Строгановых, пошто они в крае беззаконие творят. Грабят они царскую казну?

– Не знаю.

– А хочешь поглядеть, как начну в их карманах прибыли пересчитывать?

– Будет хвастать, Дементий! Не так легко с языка слова спускай. И в моей крепости строгановские уши водятся! Не забывай, что тебе отсюда в Соликамск их вотчинами плыть. Видал, сколь плотов строгановских на воде?

Запарин только махнул рукой.

– Не отмахнешься! Главное, охота мне толком узнать от тебя, Дементий, кем ты послан на воеводство в Соликамск, чтобы здесь бояр беглых ловить?

Запарин вытаращил глаза на хозяина:

– Пошто об эдаком спросил? От кого дознался? От кого, спрашиваю, дознался о тайном наказе про беглых?

– Дознался? Ты и в самом деле подумал, что я из сокола петухом обрядился? Нет, Дементий, ежели иной раз и обряжаюсь, то по хитрости. В этих местах без нее шагу нельзя ступить. Здесь даже лешие к нашему воеводскому званию не больно большое уважение имеют.

– Кем послан, спрашиваешь? Как сказал давеча: царем Московским и всея Руси Иваном Васильичем, чтобы за строгановским воровством глядеть, отучить их пригревать царских ворогов.

– Врешь. Нет у тебя такого царева наказа. Ведомо мне, кем послан беглых бояр ловить. Ведомо, с кем будешь делить прибыль от отобранных богатств. Скуратову служишь.

– Да ты разум потерял, боярин!

– Нет, разум мой при мне. А вот ты теперь не сплошай.

– Да будет, будет, боярин! До чего договорились. Все оттого, что лишку меду хлебнули. Пора спать ложиться.

– В воеводской избе, на втором ярусе, для тебя все налажено.

– Вот и спасибо.

– Сторожить тебя будут твои же люди.

– Воля твоя, небось и чердынская стража надежна. А теперь давай порешим: о чем говорили, о том позабыли. Говорили-то мы с тобой с глазу на глаз.

– Живу, Дементий, в Чердыни, а приложу ухо к земле и слышу, как в Москве колокола звонят.

– А ты в самом деле хитрый. Неужто перед Строгановыми шапку свою боярскую первым ссымаешь?

– Нет, не ссымаю. Чтобы себя не уронить, я их на своем крыльце с непокрытой головой встречаю.

– Опять, выходит, хитрый.

– Какой есть. Весь на виду.

– А скажи мне, как попу на исповеди: сам-то Строгановых боишься?

– Боюсь.

– Да не верю!.. А впрочем, пожалуй, и верно боязливым ты стал; даже боярыню свою, красавицу показать боишься. Наслышан я про ее пригожесть. Самому царю ведомо, что жена у тебя – новгородская красавица. Пошто не позвал к трапезе?

– Звал.

– Обещалась к перемене блюд, да, видишь, мы с тобой и в пол-ужина насытились; знать, на покой ушла.

– Бабам надо приказывать, они силу в нас почитают. Красавица не красавица, все одно – баба. Моя жена покойная крута была нравом, но ослушаться моего наказа не смела.

Оба вздрогнули, когда услышали из темноты певучий голос боярыни Анны Орешниковой:

– Ежели бы жила жена твоя в этом краю, не испугалась встречь мужнину наказу пойти. Наша чердынская жизнь с московской не схожа. Опасности ее нас не милуют. Коли надо ей, так и смерть нас в ряд с мужиками кладет. И думать умеем, привыкнув вместе с мужиками право на жизнь по-волчьи у судьбы выгрызать.

– Кто это воевода? Неужли мне спяну бабий голос слышится?

– Боярыня моя пришла.

– Быть не может! Не угляжу. Где она?

– Вот и я. Челом тебе бью, Дементий свет Степанович. Давно собиралась тебе поклон хозяйский отвесить, да не хотела вашей беседе мешать.

Запарин с усилием встал, поднял подсвечник над головой и пошел на голос боярыни. Она стояла у косяка двери. Отвесив поклон гостю, опять скрестила руки на груди. Запарин поклонился хозяйке и приподнял свечу, чтобы лучше различить черты этой женщины.

– Дозволь поближе поглядеть на тебя, боярыня!

– Что ж, гляди. Может, и загорят щеки от твоего погляда, да все одно – это не зазор. Не девушка.

Гость, воззрясь на статную красавицу, так оторопел, что даже перекрестился левой рукой.

– Не крестись, я, чать, не оборотень. Окромья всего, говорят, грешно левой рукой крестное знамя творить, даже если в правой свеча...

Ее смех еще пуще взбудоражил гостя.

– Экая ты из себя, боярыня! Такая кого угодно ослушается. Тебе бы в Москве жить!

– Жила, да не поглянулась мне там жизнь. А теперь слыхано, что там нашей сестре и вовсе не житье. Будто ноне московские мужья, возвеличения и почета ради, не ратными подвигами к тому идут, но через прелести жен и дочерей поближе к престолу подбираются. Мало им горя, что иной раз жены не в силах довести их до желанного места, так, выгораживая себя, они еще небылицы плетут про царских любимцев. Дескать, мол, близкие к царю люди, одержимые бесом, сперва поганят семейные очаги свои, а потом жен-неудачниц по монастырским кельям рассовывают... Мне в Чердыни хорошо, спокойно. Никто, кроме мужа, до меня рукой дотронуться не смеет.

Запарин поставил свечу на стол.

– Побудь с нами, боярыня.

– Не обессудьте, не могу. Время за полночь. Не стану вас утруждать. Небось и гостю дорогому на покой пора?

Анна Орешникова с усмешкой оглядела захмелевших воевод, поклонилась обоим в пояс и покинула трапезную. Запарин покачал головой:

– Прямо не верится, что не сон видел...

Поддерживая друг друга, собеседники вышли из хором в дождливую ночную темень. Шмыгая носом, служка освещал дорогу фонарем. О его лубяной щиток разбивались капли дождя.

– Ни за что теперь не засну, – пробормотал Соликамский воевода. – Все будет мне твоя боярыня мерещиться. Во хмелю по ласке тоскую.

– Об этом не соскучишься. Живым теплом для тебя молодая баба постель греет.

– То, поди, сенная девка.

– Татарка.

– Бусурманка? А ежели душить зачнет?

– Надумал тоже! Какая же баба мужика за ласку душит?

– Все одно, боязно как-то!

- Не поглянется – сгонишь, как кошку.
- Ну, пошто же? Нешто ночью из постели бабу выгонишь?
- Вот и воеводская изба. Доброй тебе ночи, Дементий.
- погоди. Надобно мне услыхать от тебя самую главную правду.
- Спрашивай.
- Купчишки Строгановы в царской опричнине?
- Про это, брат, от них сам дознавайся!
- Ух какой ты на правду тугой...

Возвращаясь домой в хоромы, воевода Орешников размышлял, пустит ли его боярыня в опочивальню или же, ткнувшись в запертую дверь, надо будет снова возвращаться в темноте и мокрети к воеводской избе.

На крепостной стене зычный голос Жука выговаривал часовым поверку:

– Крепость Чердынь царская спит, а мы все одно все слышим!

И в ответ ему с крепостной стены отвечали разными голосами нараспев дозорные.

– Слы-шим!

А лесное эхо, несмотря на дождь, подхватывало ответы дозорных и долго стонало над просторной далью:

– Слы-шим, слы-шим, слы-шим...

Глава третья

1

Солнце скатывалось на покой по золотисто-малиновому аксамиту вечернего неба. Краски заката сулили к утру ветер.

На воде Колвы в такой час всегда две полосы. Тень и свет.

Полоса тени шире. Под самым берегом она темно-синяя. Зайдя за середину реки, тень постепенно зеленеет и наползает на полосу закатного света, где играют блески солнечного пламени, будто плещутся там огненно-золотистые рыбки. Там, на светлой стороне, вода кажется бездонной, отражая крутой лесистый берег.

В чердынской крепости гудели соборные колокола.

Качался и тек над рекой, над всей округой густой вечерний звон, раскатывался в сизые дали, уходил за лесные вершины, облитые медью, вбирал в себя звучание всего прочего естества, живого и неодухотворенного – звоны воды, жужжание шмелей и пчел, голоса птиц и людской напев.

Доносился напев с речной поймы, где бабы ворошили граблями подмоченное дождями сено, доносился и с причаленных плотов на реке. Пел рабочий люд, хотя жизнь его и нерадостна. Протяжно пел, в лад вечерним колоколам...

На песчаной кромке городского берега – костер на костре, один подле другого. Над каждым – витой столбик пахучего смолистого дыма и какое-нибудь немудреное, но сытное варево в котле – каша, уха или щи. На том, лесном берегу, тоже костры, но их меньше и грудились они не так тесно.

Пели над Колвой колокола, вторили им вечерние песни плотовщиков и работниц, а на том берегу, если слушать с самых дальних плотов, можно было различить, как вторгались в густоту звона глухие удары вогульских бубнов...

С берега Колвы, сокращая дорогу к крепостному мосту через ров, шагал тропкой по Заячьему оврагу монах-расстрига Досифей.

Он высокий, худой, жилистый. По всему краю за честь почитают получить от него похвалу или просто доброе слово; втихомолку его зовут ухом и оком строгановским, а самые заядлые ругатели за глаза прозвали крестовиком... Только едва ли кто решится произнести эту кличку вслух при нем самом! На Колве, Вишере и Каме народ знает, что в обиходе с работным людом человек этот прост, а своему всесильному хозяину, Семену Строганову, чье слово – закон для каждого, Досифей подчас без страха перечит. Выслушает приказ, с которым не согласен, плюнет зло и скажет кратко: «Ладно, как велишь, а я по-своему лучше бы обстряпал».

В Чердыни много слухов ходило о прошлом Досифея. Поговаривали, что он беглый «монах из Решемского монастыря на Волге. Спросить прямо – побаивались, потому что силу рук Досифеевых знали все, кому доводилось видеть его в бою на крепостной стене, либо в схватке с лесными пришельцами, или в веселом раже, когда, потехи ради, он связывал в узел конскую подкову...

Досифея всегда сопровождает неразлучная с ним, как тень, тощая серая волчица. Ходит она обычно не на привязи, но никогда не отстает от хозяина ни на шаг. Дождь ли, слякоть или холод – всегда она рядом, бежит, высунув язык, и так низко опускает свое мохнатое «полено», будто хочет замести им собственный след.

На Досифее ряса. Когда-то была черная, потом выгорела на солнце, а подол обтрепался до бахромы. Голову Досифей прикрывает вогульским треухом, но не лисьего, а рысьего меха. Загорелое до бурости лицо обрамлено неопрятной, изжелта-седой бородой. Большой деревянный крест с Афона висит на медной цепочке, а к нему, вместо грузила, приделана конская подковка – чтобы крест на груди при ходьбе не болтался, не мешал. Ряса перехвачена широким кожаным поясом. Слева прицеплена к поясу сабля в простых ножнах, а справа висит тяжелый нож-медвежатник и поблескивает золотой насечкой узкий кинжальчик отличной работы. Обутки у Досифея – охотничьи, лесные: вогульские ичиги сыромятной кожи, поверх шерстяных, крестьянской вязки, носков из козьей шерсти.

За монахом, волоча ноги, еле поспевали два пленных, сильно избитых татарина со связанными назад руками. Шли татары с петлями на шеях, и концы веревок тоже привязаны к поясу Досифея, возле сабли. На ходу Досифей громко пел свой любимый псалом царя Давида «Ненавидящих меня без вины...». Встречные, услышав этот напев и завидев шествие, брались за шапки, бабы кланялись в пояс, и всякий с любопытством глядел вслед монаху и пленникам.

Подойдя к крепостным воротам, Досифей обнажил голову и сотворил крестное знамение. Похлопал по плечу дряхлого караульного, вошел в крепость и по лужайке мимо архиерейских покоев направился прямо к хоромам воеводы...

В палисаде под черемухами, подле расписного резного крыльца, воевода Орешников велел поставить себе кресло, хотел потешиться с новыми щенятами. Выводку Ласки минуло уже дней десять. Щенята прозрели, воинственно попискивали и смешно копошились в траве рядом с матерью.

Поодаль от воеводы на нижней ступеньке крыльца дремал телохранитель Жук.

Внезапно Ласка забеспокоилась, заворчала, и телохранитель, встрепенувшись, издала заметил Досифея с его пленниками.

– Боярин! Никак, к тебе строгановский крестовик жалует?

– Пусть его. Он без дела, зря не потревожит. Небось есть у Строганова какая-нибудь новая забота либо просьба ко мне.

У палисада Досифей освободил крепи от пояса, привязал пленников к ограде и приказал волчице:

– Лежи тут, Находка, покарауль!

Взволнованная Ласка вскочила, яростно залаяла, но Досифей сумел как-то быстро унять и ее тревогу: дескать, щенятам вреда не причиню. Урча и прижимая уши, Ласка загородила собой выводок, но затихла.

Досифей поклонился воеводе в пояс.

– Боярину Захару Михайловичу, воеводе царскому, поклон от грешного раба божия.

– Будь здоров, Досифеюшко. Рад на тебя поглядеть.

Пришелец кивнул и Жуку:

– Здорово, Жуче навозный.

– Здорово, здорово, монаше без обители!

О рождении щенят Досифей слышал уже по дороге сюда. Зная, что они – слабость воеводы, гость присел на корточки, успокоил Ласку и даже подержал одного щенка на ладони.

– Хороши! Хитер же у тебя псарь, боярин, коли сумел волчью породу с собачьей увязать.

– От доброго охотника лестно и слышать.

– Во здравие таких новорожденных не грешно бы пенного меду хлебнуть.

– Что ж, велю тебя добрым медком угостить... Жук! Чару из костромской кадушки! Да поживее!

Жук не торопясь пошел, словно в раздумье. На полпути остановился.

– Боярыне чего сказать, ежели спросит, кто пожаловал?

– Ступай, ступай! Скажешь: Досифею чарка.

Слуга, исполненный сомнений, побрел на поиски ключницы. Воевода указал на пленников, привязанных у палисада:

– Чего стоишь, Досифей? Садись, не чинясь, и рассказывай, что за нехристи с тобой.

Подручный Строгановых только собрался было излагать свое дело к воеводе, как на крыльце с целым жбаном пенистого меда появился Жук. Досифей громко захохотал.

– Глянь-ко, боярин Захар! Слуга наказ твой перепутал! Ты велел чарку вынести, а он... весь жбан притащил!

– То, монаше, сама боярыня велела тебя жбаном приветить.

– Добро, коли так. Что ж, подноси, по обычаю.

Приняв обеими руками серебряный жбан, Досифей принял к нему и жадно, не переводя духа, осушил хмельное питье наполовину.

– Вот так-то! Честь хозяйину с хозяйкой отдана, можно и присесть.

Он опустился на травку возле боярского кресла, поджал по-восточному ноги в ичигах, положил щенка-волчонка себе на колени.

– Дозволь, боярин, ответить теперь насчет нехристей этих. Поверишь ли, чьи они?

– Татары, никак?

– Тобольские. Мурзы Ахмета люди.

– Чего мелешь? Где изловил? Постой... Слугу отошлю.

– Дозволь, боярин, Жуку послушать. Человек он ратный... Да и новости мои скоро громкими станут... Нынче на зорьке мне язычников этих притащили наши люди с Вишеры. Неужто не видать было тредневось зарево в стороне Вишеры? Неужли дозорные с вышек не приметили?

– Зарево приметили. Да только далеконо, не ближе Белого Камня. Думали, пожар лесной.

– Пожар и был, да кабы лесной. Татары острог наш спалили.

– Сгорел? – удивился воевода.

– Дочиста. Там этих гололобых и пымали. Спрашивал их седни утром о злом умысле. Сперва молчали... Потом выпытал, что они люди хана Ахмета, коего мы зимусь с Семеном Аникычем порешили возле Сосьвы. Дале дознался: вокруг твоей Чердыни их семь станов.

Верховодит ими старшая дочь хана Игва. И собиралась она по осени Чердынь попалить да пограбить.

Воевода поднял брови, усмехнулся недоверчиво.

– Раненько посмеиваешься, боярин. Думаешь, если баба войском правит, можно за крепость не тревожиться? Как бы не так... Хозяевам моим помощь твоя сей раз нужна, а они в долгу не останутся.

– Что задумано ими?

– О сем позволю покамест умолчать.

– Где же Игва стан учинила?

– Близехонько, окаянная, к твоей крепости подобралась.

– И про это небось умолчишь? Что ж, дружинников своих по округе разошлю, разведая сам, правду ли говоришь.

– Как же не правду? Томить не стану, скажу: на Глухаринном уступе Полюдова Камня ее стан.

– Быть не может!

– Поверишь, коли проверишь. И потому так близко она подошла, что ты, воевода, беспечен стал. Дружинники твои так разленились, что, не обессудь за правдивое слово, ведь лет семь небось за стены крепости в леса не хаживали и не смотрели, как в них мураши кучи складывают.

– Правду говоришь, Досифей. Беспечно в крепости живем. Да и не мудрено – сколько лет здесь покоя никто набегами не нарушал. Забыли и думать о такой беде.

– Вот то-то! Хорошо, что я поблизости случился, а то по осени погулял бы красный петух в твоих владениях, и сам с боярыней своей, может, в татарский полон угодил бы.

– Да будет тебе страсти плести! Небось видел под Казанью не мурзу тобольского! Даст бог и здесь выстоим, как должно русским людям стоять... Сказывай, какая помощь от меня Строгановым нужна?

– Перво-наперво хочу у тебя охранителя твоего Григория Жука на недельку в помощь мне выпросить. Наслышан, что он к Полюдову Камню короткие тайные тропки знает. А может, хвастает?

– Жук, тропы тайные к Полюду знаешь? – сурово спросил воевода.

– Вестимо.

– Пойдешь с Досифеем?

– Пойду, ежели велишь.

– Неужли, Досифеюшко, вдвоем на татар идти хочешь?

– Зачем же вдвоем, боярин? Возьмем мужиков с плотов.

– Да ведь у тебя люди-то все больше вогуличи?

– Зато верные, раз строгановские.

– Дай-то бог!

– Еще просьбишку имею к тебе, боярин: скажи боярыне Анне, чтобы она, когда мы выступим татар воевать, в соборе своей рукой свечку за нас Николаю-угоднику затеплила.

– Обязательно затеплит. На том тебе поруку даю.

– Татар этих, пока на Полюд отлучусь, поддержи на царских хлебах, сделай милость!

– Подержу. Будут в крепости площадь мостить.

– Добро! Надобно бы мне, боярин, еще бочоночек пороху: у меня в разуме для Игвы новая выдумка припасена.

– И как пороху не дать, коли Чердыни напасть уготована, а ты в защиту идешь! Будет тебе бочонок, а надо – так и два.

– Вот и спасибо. Допью хозяйкин медок, поклонюсь тебе в ноги да пойду исподволь к походу готовиться. Ты, Жуче, посади татар в яму да с дозволения боярского бочонок пороху на Пьяный двор заблаговременно доставь.

– Когда в поход двинетесь?

– Как людей соберу да приуготовлю. Перед уходом шепну тебе, боярин; только, сам знаешь: о таком деле, кроме тебя, никто ведать не должен. Вели своим ратникам в мою отлучку за плотами получше приглядывать. Сам знаешь, чей лес, а Чердынь твоя хотя и богатая, но страсть какая вороватая.

– О сем тревоги в разуме не заводи... Да, чуть не позабыл спросить: слухок идет, будто к тебе с Руси дельный плотничный мастер прибег?

– Видом не видал, слухом не слыхал про такого.

– Сказывали мне.

– Не всякому слуху верь, боярин. В крепости твоей народишко на язык бойкий.

– Сказывают, будто может он лодки да струги ладить.

– У тебя, никак, нужда в плотниках?

– А как же? Мало ли в крепости разных поделок!

– У твоих плотников, видать, руки до всего не доходят?

– Да разве то мастера? Когда перед тобой тот беглец объявится, обязательно мне покажи.

– Как сказал, так и будет: я от тебя ничего не скрываю.

2

На берегу Колвы, в том месте, где под крутым яром началены плоты кривого деда Дениса, с которыми Иванко Строев доплыл до Чердыни, горел поздний костер. Его теплом согревались Досифей, Иванко и Денис.

Уже смолкли на реке последние вечерние песни. Досифей после беседы с воеводой решил еще раз навестить беглеца Иванка. Он успел и до того побеседовать с костромичом, дознавался о новом житье на Руси при опричнине и, убедившись, что парень не пустомеля, решил самостоятельно доставить его к хозяину Семену Строганову, как только вернутся из похода на Полюдов Камень...

Языки огня, красные, голубые, а то и золотистые, извивались петушиными перьями в густом дыму. Едкость его – спасение людям от комаров и мошкар. Мужики пили из оловянных кружек черничный взвар.

Иванко своей бесхитростной правдивостью пришелся Досифею по душе. Старожилу камского края понравилась любознательность парня к здешним местам. Беседа началась с рассказа Иванка о стругах, кои мастерят нынче на Волге, чтобы веселее резали воду на весельном и парусном ходу. Досифея удивляли познания молодого парня в таком деле. Он ставил мудреные вопросы и получал дельные, понятные ответы. Не оставалось сомнений, что беглец – дока в плотничьем мастерстве, хотя и удивительно было, как это в такие годы парень успел перенять все тайны мастерства от своего родителя.

Потом вопрошать начал Иванко. Досифей поначалу отделялся краткими ответами про камский край, но парень упорно допытывался о зачине русского житья-бытья в Перми Великой. И Досифею пришлось по-своему растолковывать пытливому костромичу и хмурому Денису давние бывальщины о камском крае.

– Для понятности так скажу. Стало быть, у всякой речонки имеется исток, и место его всегда известно. А вот истока, из коего сюда, на Каму, святая Русь полилась, прямо скажу, будто даже и не водится. Ясное дело, исток все же был, только его никто не упомнит. Кое-кто о нем даже буквицы выводил в здешних летописях, но они погорели, потому как первичные города и посады Руси здесь набегами рушили и выжигали.

Знайте и про то, что камский край издревле всяко прозывался. По первости звали его Землей Чуди, по-иному Заволоцкой Чудью. В низовьях Камы болгары сидели, да разорил их татарский хан, и землю их по-мудреному звали – Биармией.

До находка русского люда ютились здесь в чумах и землянках затерянные в лесах племена языческие – зыряне, пермяки, чудь, черемисы и вогулы. Будто иными племенами князьки ихние правила, и был середь них старшой князь Корь, только сказка ли то, был ли – господь его ведаёт.

В землю Перми Великой люди с Руси навевывались смелые, а главное – смекалистые. По первости жилось им здесь похуже, чем нам с вами. Иной раз от нежданых невзгод самых храбрых прошибал кровяной пот. Немало полегло здесь наших от всяких страстей-ужастей. Но все одно Русь сюда шла. Такой уж мы народ беспокойный. Любим знать, что творится на белом свете, любим бродяжить по новым местам и на все невиданное очи пялить.

Вот так и шли да шли сюда наши, узнавали про здешнее зверовое богатство. Садились пожить, чтобы ладом разглядеть все без спешности. Несли в дикий край добрые намеренья Руси и помирали здесь, среди лесов, тоже, стало быть, за Русь. Ходоки так рассуждали: места лесные, глухие, но нам глянутся и уходить из них в обрат на Русь, коли пришли, неохота, да и несподручно.

Вот, стало быть, и понимаете, мужики, что летописей про то, когда первачи сюда пришли с Руси, начисто нету ни здесь, ни на Руси. Пришла Русь и зачала по-доброму приучать чудь к другому порядку жизни, по-доброму, говорю. Мы, чать, не Батыева рать.

Конечно, новые порядки Руси не всем лесным жителям нравились, многие за свою дикую старину, за невежество свое держались, особливо шаманы да князьки с их присными. Затевали они споры с нашими. Об этом есть заломки веток на тропах прадедовской памяти. Сами знаете, какими наши деды на Руси были. Памятишка у них – под стать силе богатырской. Уж ежели чего порешили запомнить, опосля навек не забывали. Сам, помню, парнишкой многонько слышать доводилось от старых людей, что поначалу край Заволоцкий на Каменном поясу углядели новгородцы-землетопцы еще в те поры, когда в челе новгородских ратей хаживал на немца и шведа князь Александр Ярославич Невский.

Новгородцы на Руси – первые шатыги. Это они, стало быть, углядели край, когда по торговым делам аж в самое Сибирское царство с бусами и зеркальцами за бобрами да соболями ходили. Новгородцы – дошлый народ, что твой таракан: любую щель найдет и угнездится. Поглядели они на диковинный, почти что безлюдный, пустой край. В родные места повертелись и стали сказывать о богатстве пушном сперва только своим бабам, опосля, шепотком, и сродственникам. Пошла сорочья молва о реке Каме. Кто слушал – диву давался, инда волосья под шапками маслились: шутка ли – край нашли, где земля, как половиками, устлана бобровыми, соболями и беличьими шкурами! А народу там почитай что и нет. Так, бродят в лесах какие-то чудины потерянные. Может, потому их чудинами и прозвали, что жили чудно, убого, не по нашему укладу. Сама же Кама – река по новгородским сказам под стать матушке-Волге, и вода в ней больно сытная, потому и леса окрест Камы невиданные.

Словом, понимали люди на Руси, что край Каменного пояса есть самое диковинное земное чудо.

Легкой вере на слово Русь не шибко податлива. Сама Москва, охочая до обновок, исподволь дознаваться стала о богатствах Перми Великой, что раскинулась от Запечорья до камских низовьев. И тогда только новгородцы спохватились, что зря много языками брякали. Поняли, что Москва обязательно следом пойдет, да как раз самую сметанку слижет, благо, язык большой.

Но пока Москва еще почесывала затылок, новгородцы уже обживали камские места. По хорошему узнавали поближе местных людей, обряженных в кожи да звериные шкуры. Теснить с насиженных гнезд никого не пришлось – земли много, люди пришлые по соседству с мест-

ными садились. Вестимо, без спору порой не обходилось, но все же приписали прадеды земли Перми Великой к Обонежской пятине новгородской. А там – под руку воеводам московским земли эти отошли. Вот как дело было. С начальной-то поры многолько всего на святой Руси содеялось, но как пришла она сюда, на Каму, так и осталась. Теперича вот мы с вами, мужики, здешнюю землю для Руси обихаживаем. Опосля нас другие станут здесь жить, и кто в этом краю поживет, тот уходить из него уж не захочет. Это мое слово верное.

– Ишь красно как порассказал, – произнес Денис. – Не зря тебя в крепости за умника признают.

– А ты не всему верь. Иной раз и дурака слугу похвалят, коли хозяина уважить хотят... Не в уме моем дело. У меня он, как у любого, кому жизнь волосья добела отмыла. Дело в памяти. Вот память у меня крепкая. Места в ней много. Все, что слышу, хороню в ней и потом на дороге не теряю.

Иванко крепко задумался. Досифей ждал его слова о сказанном, но тот не поднимал головы.

– О чем, парень, думу вяжешь? Аль заскучал?

– С тобой нешто заскучаешь?

– Правду сказал, Иване! А скоро и вовсе развеселю тебя. В одном деле горячем сметку твою испытать хочу. Рад ли?

– Что ж, испытай. Авось в грязь лицом не ударю.

– Дело будет нешуточное, и молодому плечу самое разлюбезное. Только уговор: от меня в этом деле – ни на шаг, и зря башку под чужую саблю не совать!..

3

Со стороны речки Услуя тянутся к Полюдову Камню широкой полосой гиблые топи и трясины с порослью чахлах березок и осин. Копнами торчат там, на болотных островках, кустарники. Частые кочки, ошетинясь осокой, походят на стада свиней, разлегшихся почивать среди мокрети.

Попадаются в болотах омуты, как тусклые осколки битых зеркал. На их черно-зеленой воде белеют недвижные чашечки кувшинок. Иные распустились прямо на воде, другие лежат на глянцевином листе, будто на ладони.

Когда-то первозданно могучий, лес этот постепенно, веками, стал заболачиваться, мельчать, зарастать цепкой болотной травой с сильными, глубокими корневищами. Постепенно множась и разрастаясь, вытягивали они из почвы все жизненные соки, вытесняли древесные корни, обессиливали лес...

Дышат каменные боги древних Рипейских гор. Тысячелетие – вздох, другое – выдох. В глубинах земной коры от дыхания богов образуются складки, и оттого где-то поверхность Земли пучится, а где опускается, будто под ступней каменного великана. Так толкуют вогульские шаманы, почему ушла жизнь из лесов за Полюдовым Камнем.

Кое-где от погибшего леса остались в болотах колоды гнилого бурелома, торчат из земли веревки и канаты корней, тянутся к небу сучкастые стволы с обломленными вершинами. Лишайники, как русалочки волосы, зелеными, рыжими, голубовато-седыми лоскутами и бахромой свисают с сучьев до самой земли, оплетая сухостой, как драными рыбацкими сетями. почвы мертвого леса!

А поглубже зайдешь в болота – берегись трясин! Поверхность их, зыбкая и мягкая, как татарский ковер, но всякого, кто забредет сюда, сторожит смерть. И, как приманку, разложила она у самого края трясин бирюзовые поля незабудок.

У Глухариного уступа Полюдова Камня леса спускаются вниз, к долинам, в сторону восхода. Здесь, у истока реки Сосьвы, – самый зачин Сибири!

Уступ очерился скалами. Покрывают их цветные мхи. Иные зацветают синими, как сапфир-камень, цветочками величиною с булавочную головку, и оттого такой утес издали кажется голубым. А рядом есть скалы фиолетовые, черные, красные – то от примесей к самому камню, то от цвета мха, каким этот камень оброс.

Между скалами журчат родники. Их студёные воды сливаются в озерко и сохраняют в нем такую чистоту, что на гранитном дне видна каждая трещинка, затонувшая ветка или камешек.

Глухариный уступ кругом охватывает стопу Полюдова Камня. Склоны его – и выше и ниже уступа – в обрывистых кручах. С уступа хорошо видны реки Вишера и Колва, можно разглядеть и чердынскую крепость – напрямик до нее не больше сорока верст...

Прошел месяц, как выбрала это место для своего стана Игва, дочь сибирского мурзы Ахмета с берегов Тавды. По жестокости она – вся в отца; привела с собой для набега на камский край немалую орду воинственных татарских племен. Сжила с этих мест у Полюдова Камня целое селение вогульского племени. Разослала вокруг Чердыни свои шайки с приказом мочить сабли в русской крови – вести разведку боем, тешить своих удалцов.

Раскинула Игва шатры на уступе, ждет новых подкреплений с Тавды и Тобола. Они должны подоспеть к тому времени, когда летние ночи станут длиннее, чтобы легче было ускользнуть от преследователей в ночную тьму, озаренную заревом Чердыни и вишерских острогов. Так отомстит она ненавистным Строгановым, убившим ее отца, мурзу Ахмета.

Игва стала наследницей всех его владений, и потому шатры ее воинского стана – из добротных ковров. Сама она молода, но собрала испытанных татарских воинов, привычных к опасностям походов и набегов.

Надежное место для тайного стана и надежных соратников подыскала себе воинственная дочь Ахмета, чтобы врасплох налетать на русские крепости и острожки.

4

Догорал закат, кровеня отблесками вершины мертвых деревьев. К Полюдову Камню тайной тропой среди трясин крались Досифей, Жук, Иванко, пятеро его земляков из Костромы, трое пожилых устюжан и человек пятнадцать добровольцев-вогулов. Несли они с собой боченок пороха и два бочонка со смолой. От трудной дороги все приустиали. Шли гуськом с осторожливой оглядкой. Чтобы не оплошать на трясине, вперед себя пустили волчицу: зверь в опасное место лап не поставит.

Иванко шагал за Жуком, казавшим отряду дорогу, и все поглядывал на медленно приближающийся Полюдов Камень. Он любовался величием гранитной горы. Почти заоблачная скалистая вершина ее четко рисовалась в небе, расцвеченном красками заката.

А оттуда, сверху, для наблюдателей из татарского стана отряд Досифея оставался невидимым среди болотных кустарников.

Неожиданно волчица насторожилась и припала к земле для прыжка. Досифей угадал: зверь увидел зверя! Всего в нескольких саженях от них отскочила с тропы рысь и разом слилась с валежником, будто провалилась в трясину.

Ощетинив шерсть на загривке, волчица осторожно, шаг за шагом двинулась вперед. На месте, откуда согнали рысь, лежала свежая туша козла.

Полюдов Камень все ближе. Чаше стали взлетать утиные выводки, кулики и болотные курочки. Стало быть, вечер не за горами. Издали донесло от Полюда собачий лай. Пошли еще осторожнее. Жук шепотом спросил Досифея:

– Ишь ты, неужли псов с собой прихватила? Может, уже зачуяли нас?

– Не тревожься. Ты ладом прислушайся, как псы брешут: чу! Слышишь – повизгивают! Стало быть, не нас учуяли, а хозяева с ними от скуки тешатся, играют...

* * *

Ночь настала. Темень небес прожгли каленные угли крупных и мелких звезд.

В дальних лесах гукали филины. Лягушки в болотах без конца выкрикивали: «Игва, Игва!» – будто силились предостеречь татарку... Тихонько посвистывали ночные птицы. Внятно булькали родники. Неизвестно отчего, сам собой, похрустывал валежник...

Досифей, Иванко и Жук, крадучись, взбирались на Полюдов Камень, чтобы сверху поглядеть на воинский стан Игвы. Тяжело лезть на гору во тьме лесной чащи. Ухватятся мужики за выступ скалы, а пальцы срывают моховой покров и соскальзывают с влажного гранита. Иной камень вдруг скатится рядом, и не понять, кто его уронил. На ощупь, наугад ползут. Часто отдыхают, а сердца все равно молотками постукивают.

Встретилась по пути мокрая скала. У Иванка давно во рту пересохло. Припал губами к камню и напился, слизывая влагу с гранита. И не поймешь: то ли водица родниковая, то ли росная.

Наконец взобрались на большой скальный выступ. Совсем оголен камень, даже мха на нем нет. Шершавая твердь! Все трое взглянули на небо и поняли, что до вершины еще далеко. Ползли по камню на животах, а шершавины его цеплялись за одежду, будто не веля дальше лезть. Жук ущупал впереди самую кромку и неожиданно как на ладони увидел перед собой Глухариный уступ, освещенный кострами. Все трое улеглись рядышком на кромке. Смотрели с кручи вниз.

Над лесами появился молодой месяц. Света от него нет, только небо вокруг обведено желтым кольцом, будто там и не месяц вовсе, а венчик над темным ликом иконы.

На Глухарином уступе палятся четыре костра. Один возле озера, горит светло, и прошивают его дым искры. По воде переползают отблески пламени, будто падают в воду красные угольки. Татарские воины жарят мясо. Доносится даже отзвук голосов. Неподалеку, под кедром, заметен шатер, в нем – тусклый свет. Слышно, как отбиваются от гнуса и фыркают лошади. Других шатров не видно: значит, где-то в стороне от огня.

Лазутчики неторопливо обшарили глазами стан, разглядели дозорных, тоже скрытых мглюю. Один пост угадали потому, что к дозорному перебежала от костра собака.

Из шатра под кедром послышался женский смех. Показалась из шатра невысокая тоненькая фигурка. Подошла к костру, посмеялась с товарищами и вернулась в шатер.

Жук шепнул Досифею:

– Прислужница, знать. Верно, жарово Игве понесла.

– Спокойно живут, не остерегаются. Огни, правда, горят не шибко и зажжены так, что от крепости не разглядишь. Как думаешь, сколько их тут? А, Жуче?

– Да не меньше полусотни. Погоди, полежим – увидим.

Татарин у костра постучал палкой о палку и что-то прокричал в темноту ночи. Тотчас все татары стали сходиться к костру.

– Считай теперича, монаше.

– Твоя правда – полусотня полная. Тавдинские татары. На их манер шатер стоит... Что ж, боле глядеть нечего. Про надуманную хитрость позабыть приходится. Зря порох со смолой в такую даль притащили. Думал, подожженные бочонки сверху скатить, разом шарахнуть, да, вишь, стан широк. Будем одолевать врагов неожиданным наскоком. Как думаешь, Жуче? Осилим?

– На рассвете сонными можно взять. Сам видишь, не больно сторожатся.

Заржала лошадь. Ужинавшие у костра умолкли, прислушиваясь к ночной тишине. Двое неторопливо удалились туда, где фыркали кони.

Из шатра стало слышно негромкое, монотонное пение и слабое позванивание бубна.

Вспугнув тишину в лесах, взревел сохатый, и в ответ на его рев на Глухаринном уступе закатались лаем собаки татарского стана.

– Давайте-ка, Иванко и Жуче, в обрат к ребятам подаваться...

* * *

Месяц повисел-повисел над Полудовым Камнем и скоро забрался в густую шерсть горных лесов.

В еловой чаще Досифеевы охотники выбрали сухой плоский камень. Он оброс мхом, пахучим и мягким; улеглись на нем охотчие люди рядом и мигом уснули. Мошкар жалит, а они спят. Вогуличи сбились кучкой, по-овечьи, голова к голове...

Темень в чаще кромешная. Неба звездного и то не видно. Запалить дымную теплинку Досифей не позволил, хотя хорошо понимал, что поутру у людей распухнут лица до того, что перестанут они узнавать друг друга.

Только трое бодрствовали в еловой чаще возле камня: Иванко, Досифей и Жук.

Комарье и гнус безжалостно жгли Иванка, хотя он, как мог, закрывал лицо и даже насовал под шапку пихтовых веток. Подле Досифея лежала Находка. Вернувшимся лазутчикам никак не спалось. Иванко спросил, откуда взялась у Досифея волчица. Тот рассказал, как нашел ее щенком в верховьях Сосьвы и сумел приручить коварно-недоверчивого зверя.

– Не зря про тебя пересуды.

– Знаю. Много плетут. Есть и правда, но больше кривды. Небось уж прослышан, что меня беглым монахом почитают?

– Прослышан. Неужто правда?

– Самая гольная.

– И что грех с бабой в монашестве был?

– И такое было.

– Порассказал бы.

– А тебе охота знать?

– Обязательно.

– Ладно. Скажу. Меня к богу рано потянуло. Тягло это в моем разуме от бабушки завелось. Она во мне рвение к божественному разожгла. Сиротой рос, знал только голод да битье. Одна в праздник ходил я в Решемский монастырь, иконам поклониться, да тут и повидал жизнь монашескую. Против моей она райским житьем показалась, и оставили меня в монастыре послушником, снизошел игумен к моей мольбе. По двадцатому году принял постриг. Стал монахом жить, а бес-то и давай мне, по молодости лет, плоть мутить. Ох, до чего докапывал меня, окаянный, всякими греховными виденьями! До того донимал, что я всякой ночи боялся. Кому покой, а мне бесовское искушение! Погляжу иной раз невзначай на бабу али на девку, а самого в жар кинет, будто кто в пузо углей накладет. Постом, молитвой до одури себя изнурил, а бес не отвязывается.

Пожаловала как-то летней порой в наш монастырь на поклон святыням именитая купчиха; на постой стала в монастырской избе. Поглянулся я ей. Стала сперва разговоры заводить. Раз после всенощной пошла она к лесному озеру. А я возьми за нею и увяжись. Иду, ног под собой не чую, а в ушах слышу шепоток бесовский: ступай, дескать, не плошай! Вижу, села под кустами на бережок, на воду глядит. Подошел я к ней. Она вроде бы испугалась, а сама место рядом указывает. Ночь на леса пала. Уж не помню, как коснулся, но тут же голову и потерял.

Забавлялись мы с ней ласками до самой осени, а она и забрюхатела. С перепугу домой покатила, греха там скрыть не сумела, а может, кто и донес муженьку. Купец – в монастырь, игумен – меня за бока. Пятеро суток монахи из меня батогами беса изгоняли, покаяния доби-

вались. Но я смолчал, а на шестые сутки, как потащили опять к игумену, я вырвался да и сиганул через стену в лес.

– А дале как?

– А дале – все лесом да лесом. Под Устюгом в ту пору на дорогах шибко шалили разбойники. Я к таким и пристал. Годика три, а то и боле помахивал я кистенем и ножик всегда за пазухой наготове держал...

Жук, молча слушавший Досифея, вдруг спросил:

– Поди, купцов на смерть кровянил? А нынче – купцу же и служишь? Вором был, а у какого хозяина ноне в доверии? Как понять, когда же сия перемена совершилась?

– Перемена-то? А понимай, Жуче, как знаешь! Только вышло однажды так, что самого чуть насмерть не порешили – оплошал в одном деле... Совсем было богу душу отдал, да вот не принял он меня. Странник, вишь, на меня набрел, отходил. Оказался проповедником христовой веры. Покаялся ему во всем, позвал он меня с собой в Пермь Великую да потом и отпустил с богом. После того я, сам знаешь, нового благодетеля здесь сыскал, ему и служу.

– Рясу пошто не сымешь? Зазорно, чай?

– Привык. Да ведь под ее прикрытием и сшибаться с людьми сподручнее...

Невдалеке от Глухариного уступа послышался долгий собачий вой. Досифей сплюнул:

– Ишь как заунывно отпевает! Чует недоброе... А люди того не чувят, спят себе под топором... Ух, забирает! Все терплю, а вот этого воя собачьего боюсь.

Лежавший рядом с Жуком Иванко вдруг громко всхрапнул.

– Жуче, пошевели-ка соседа. Уморила парня наша маята ночная. Уснул! А спать-то здесь надобно шепотом, не то татар перебудишь!

От легкого толчка Иванко пошевелился, но через минуту захрапел снова. Досифей осторожно прикрыл ему лицо шапкой. Спавший встрепенулся.

– Чу! Это ты, Досифей? Экая темень – увидеть тебя не могу.

– Днем насмотришься.

– Ненароком вздремнул я с устатку. Жаль мне, что сказа твоего не дослушал.

– На плотах наслушаешься. Досыпай... Подремлем теперь и мы, Жуче, маленько останется... Так ведь и не стихает у татар собака, вешун окаянный!

* * *

Начинало светать. Сквозь темную прозелень ветвей перестало мерцать звездное золото. И лишь только чуть порозовел небосвод, ватага Досифея обложила спящий татарский стан.

Из-за корней вывороченной ели Досифей, Иванко и охотник вогул Лисий Нос всматривались в сереющую рассветную мглу. Стала различима фигура дозорного, ближайшего к шатру Игвы. По знаку Досифея вогул Лисий Нос натянул тетиву лука... Чуть вскрикнув, дозорный татарин упал замертво. Тотчас две собаки метнулись было к нему от шатра. Досифей послал волчицу на переем.

Беззвучно, как серая тень, зверь ринулся вперед, сбил встречного пса плечом, мгновенно перехватил ему горло, переброшил через себя, хватил оземь... Тут же, почти и не замедлив бега, по-прежнему молча, Находка кинулась на второго пса. Тот, уже с разорванным горлом, успел взвизгнуть...

Кони татарского стана, зачуявшие волка и кровь, отозвались тревожным ржанием... Потом опять стало тихо. Волчица неслышно вернулась к Досифею. Лисий Нос даже языком пощелкал в знак восхищения ее боевым подвигом.

Тогда предводитель ватаги вышел из-за укрытия, поднял руки, скрестил их над головой, помахал: по этому сигналу люди начали наступление на шатры. Вогулы ползли, держа луки в руках, а ножи в зубах. Старший вогул Василий, рыжебородый плотовщик Федор Рыжий и

пскович Алеша первыми добрались до ближайшего шатра. Иванко видел, как закачался темный полог шатра, услышал глухие удары... Сам он приготовил для встречи с врагом легкий пернач. Перед самым боем Досифей велел Иванку надеть чей-то зипун, а под него, на рубаху, поддеть кольчугу.

В стане уже поднялась суматоха. Татарские караульщики у коновязи (там, отдельно от остальных, были привязаны лошади Игвы и ее помощников – командиров) встретили вогульских охотников сабельными ударами. Один из вогульских воинов в схватке пал. В следующий миг два татарина очутились около Иванка, и, если бы не Досифеева кольчуга, плохо пришлось бы парню! Ощувив дюжий сабельный удар по плечу, лишь скользнувший по кольчуге, Иванко взмахнул своим перначом, сбил противника и видел, как рядом сразила второго татарина тяжелая палица Алеши-псковича.

Теперь бой шел на каждой пяди Глухаринового уступа. Звенели сабли, яростно вскрикивали раненые, слышалась брань, посвист стрел, гудящие металлом удары, похожие на гром, когда круглый татарский щит встречал кованную гвоздями палицу или новгородский прямой меч. Звонко пели вогульские стрелы и клинки.

В пылу боя Иванко мельком увидел однорукого Жука – своего ночного собеседника. Тот рубился с двумя воинами Игвы, сплеча, наотмашь отражая саблей их натиск. При каждом взмахе он кричал, рубил с присвистом и быстро сумел нанести одному из противников смертельное поражение. Второй татарин, низко пригнувшись, ранил Жука в ногу, рассчитывая свалить его и добить на земле. Крякнув от боли, однорукий воин сам не упал, но бросил саблю, чтобы успеть нанести противнику, еще не успевшему выпрямиться, мгновенный удар кулаком. Поверженный татарин уже хрипел, когда Иванко прибежал на помощь Жуку. Однако тот успел управиться и сам. Он тяжело дышал, ругался и отплевывался, но уже смог подняться во весь рост, хотя сапог был окровавлен.

– Поранили тебя? – спросил Иванко.

– Да так, по ноге рубанули... Эхма! Гляди-ко!

Иванко обернулся. Бой уже затихал, когда один из татар взлетел на коня и пустился вскачь по лесной тропе.

– Не упусти, не упусти, Досифеюшко! – завопил Жук. – не упусти, благодетель родимый, а то – плохо дело! Подмогу приведет!

Иванко ничего еще сообразить не успел, как мимо него мелькнули две быстрые тени: это по знаку Досифея снова кинулась в бой волчица Находка, а следом за ней – ловкий вогульский охотник по кличке Воробышек. Он разрубил саблей повод ближайшего коня у коновязи, упал лошади на спину и полетел вдогонку вражескому посланцу.

Тем временем сам Досифей занялся противником покрупнее.

Вокруг шатра Игвы еще продолжался бой. Защитники шатра, охраняя свою военачальницу, не сдавались до последнего вздоха, и все легли под ударами русских дружинников. Иванко приспел, когда Досифей, переступая через тела, подобрался к ковровому пологу и крикнул:

– Спета песенка твоя, девка-мурзиха! Выходи теперь сдаваться на нашу милость! Вылезайте оттуда, сколь вас там всех в шатре есть! А то спалю, как вы надысь у нас острожек спалили!

Было слышно, что в шатре что-то быстро-быстро говорят женские голоса. Потом одна из татарок громко взвизгнула от страха, полог колыхнулся и отлетел в сторону... Сдаются?

Нет, не сдаваться русским вышла из шатра дочь татарского мурзы. В боевом наряде, в кольчуге и легком шлеме, с круглым щитком в левой и с ханской саблей в правой руке, Игва молнией налетела на Досифея. И не сносить тому головы, если бы точно нацеленный сабельный удар не перехватил Иванко своим перначом. Головка пернача, начисто срубленная, отлетела

прочь, Иванко остался безоружным, но татарская воительница даже взглядом его не удостоила. Вся изогнувшись, она тут же изловчилась для нового удара по Досифею.

– Шайтан урус!

Сперва не ожидавший от девушки серьезного сопротивления, Досифей и сам теперь видел, что с такой противницей шутить не приходится. И когда его товарищи сунулись было на помощь, он грозно прикрикнул на них:

– Назад! Этой добычей ни с кем не поделюсь, старые у нас счета с мурзихой!

Один на один шла последняя в нынешнем бою схватка. Татарка то отступала, то снова бросалась в атаку. Досифею приходилось нелегко – княжна теснила его от шалаша к озеру.

Из шатра выбежали толпой девушки из свиты Игвы, с ужасом глядя на необычное сражение. Клинки, русский и татарский, сшибаясь, высекали искры, звон булатный далеко разносило вокруг.

Улучив мгновение, Игва с удивительной точностью нанесла удар, рассчитанный на то, чтобы обезоружить противника. Удар достиг цели – сабля Досифея, простое рядовое изделие строгановского кузнеца, переломилась, и клинок отлетел в сторону. Досифей комом упал под ноги противнице, сшиб ее, выкрутил руку и отнял чудесный восточный клинок, стоявший отцу Игвы, верно, целого табуна коней. Досифей прижал противницу к земле. Она извивалась, кусалась, вырывалась, как пойманная рысь.

Досифей встал, отряхиваясь.

– Ну, хватит, хватит лютовать, Игвушка. Собиралась зарубить меня, да ростом, видать, не вышла! Подбери, Иванко, ее сабельку – знать, добра, раз мою перекусила! Эге-ге! Вот это сабля! Придется хозяину, Семену свет Аникьевичу, передать – такая сабелька в три веса золотом, а то и пять потянет. Ну, спасибо, Иванко, без тебя пропасть бы мне нынче... Горячий ты, брат, в бою, значит, верно, и в деле своем мастак. Вставай, вставай, Игва-мурзиха! Не бойся, жива будешь, у нас лежачего не бьют!

Игва поднялась, встала, но, увидев драгоценную отцовскую саблю в руках русского парня, кинулась на него и вцепилась в волосы.

– Шайтан урус!

– Дура! – Досифей грубо оторвал ее от Иванка, подозвал двух ватажников.

– Головой за нее ответите! Глаз не спускать, чуть что – в оковы и на привязь. Сбежит – обоих заживо в землю закопаю! Василий! – повернулся он к вожаку вогулов. – Как ребята твои управились? Много ли твоих полегло?

– Вот ищу, – ответил Василий. – Троих у нас недостает. Двоих уже нашли. Стынут.

– Третьего не ищи: за беглым татаринорм Воробышек ускакал. Алеша-пскович с Федором Рыжим где?

– Здесь мы. Пленников увязываем.

– Повинились, значит? Ведите их сюда. Погляжу, какие из себя.

Великан Алеша и рыжебородый Федор подвели к Досифею шестерых татар. Досифей сорвал с одного треух. У татарина не хватало уха.

– Вишь, вдругорядь свиделись. Самый он. Я ему ухо отрубил, когда зимусь мурзу кончили, отца Игвы. Ничего не скажешь, Игва, ладных ты себе вояк подобрала. Не дознайся мы, выпустили бы осенью кишки воеводе чердынскому... Отдаю татарских пленных вогулам. Игвиных девок за косы, как морковки, в пучок свяжите, так вернее дотопают. Добро награбленное разбирайте, кому что поглянется. Все ваше, только сабельки мне по счету сдайте. Игву сторожите, расспросами зря не тревожьте, пусть вырвется да злобу хоть о землю из башки выколоти.

Жук, хромая, подошел к Досифею.

– По ляжке, что ли, рубанули? Невелика беда. Вели Лисьему Носу кровь унять, он мастак на это...

Из лесу показалось маленькое шествие. Вогул Воробышек вел в поводу коня. Мертвый татарин был перекинут через конскую спину. Возле пешего и коня бежала волчица Находка.

– Молодец, Воробышек, что не упустил бегляка!

– Это, бачка, волчица твоя коню под ноги кинулась, уйти тому не дала! Ей и похвала твоя. А то бы ушел!

Досифей и Иванко подошли к убитым вогулам. Иванко видел, как Досифей встал на колени, засунул мертвому руку за пазуху и вынул маленький медный крестик, приделанный на плетеном шнурке.

– Жаль! Понимаешь, Иванко, он из крестников моих. Лет пятнадцать назад в Колве их окрестили. Этот добрый плотовщик был... С собой тела возьмем да в устье Колвы захороним. Они тамошние. Коней теперь считайте.

– С шатрами что делать?

– Попалим. Только ковры да подушки прихватим. Куда Василий-вогул ушел?

– Возле коней барана свежует. самого жирного прирезал. Народ за ночь оголодал.

– А еще бараны есть?

– Семь штук.

– Поживее, мужики, добро делите, заморим червячка – да и в обратный путь.

Досифеева волчица подбежала к озеру, опустила к воде лобастую голову и принялась жадно лакать. Рядом, у самой воды торчала, уткнувшись в мягкий грунт, каленая вогульская стрела. Маленькая птичка, овсяночка или камышевка, вспорхнула на оперенный конец и, не обращая внимания на волчицу у водопоя, стала охорашиваться, чистить перышки и пробовать голосок.

5

Возвращение ватаги Досифея с налета на татар всколыхнуло всю Чердынь.

Торговые, посадские, большие и малые люди с женами и детьми без устали бегали в крепость поглядеть на полоненную мурзову дочь Игву: по приказу воеводы ее по нескольку раз в день показывали народу с крыльца воеводской избы.

Пленницу держали под неусыпным надзором.

Владыка Симон в соборе отслужил литургию об избавлении града от огня и меча и о ниспослании мирного жития обитателям Чердыни; дьяконский бас возгласил многия лета православным воителям Досифею и Григорию с дружиной, одолевшим на брани злокозненных язычников-ворогов.

Жены купцов узнали, что татарка в бою окончательно порушила Досифееву ряску, сшили ему новую из дорогого тонкого сукна.

Воевода Орешников три вечера подряд слушал рассказы Досифея и Жука о сражении на Глухарином уступе и, упиваясь досыта, не слышал укоризны от боярыни.

Дня через три отплывали из Чердыни плоты: это Досифей посылал Строганову добытых в набеге коней и лучшие ковры.

Но в тот же самый день город неожиданно-негаданно омрачила страшная весть: татарские шайки Игвы напали на село Искор, побили русских и вогулов, зарезали многих женщин и детей, запалили пожары.

Сам воевода дважды учинял Игве допросы, но не мог заставить пленницу развязать язык, указать места, куда она разослала свои шайки. Как предупредить тех, кому опасность грозит завтра?

Дочь мурзы молчала и даже изловчилась заплевать воеводе парчовую одежду. Пришлось Орешникову посылать за Досифеем. Боярыня заставила обоих – и мужа, и строгановского подручного – поклясться на образах, что татарку не станут пытать горячими углями.

После полудня Досифей явился в воеводскую избу и удалил караульных на галерею.

Игва сидела на ковре среди раскиданных шелковых подушек. Досифей обратился к ней по-татарски:

– Твои люди спалили Искор. За что баб наших и ребятишек малых побить велела? С тебя теперь спросим.

Пленница усмехнулась:

– Скоро всех урусов зарежут мои люди. Тогда спросишь, если сам жив будешь.

– Где станы твоих воинов вокруг Чердыни?

– Везде!

– Добро, что везде. Ловить сподручней. А как переловим и воровство твое им растолкуем, добрыми людьми сделаются. Если же кто кровопийству верен останется – тому башку долой... Какие поселения палить велела?

– Все спалим, шайтан урус!

– Нет у меня времени с тобой тут разговорами прохлаждаться. Гостинца принес, отведать не хочешь ли? Или по-доброму отвечать будешь?

Досифей снял с груди крест, отложив в сторону и не сводя с пленницы взгляда, достал из глубокого кармана татарскую ременную плетку с рукоятью из козьей ноги...

Уже спустя полчаса Досифей знал все о подготовленных набегах, и караульщики на галерее получили повеление доставить в избу ведро холодной воды. Но Досифеевы посланцы не успели еще выполнить этот наказ, как с галереи послышался сильный стук в запертую дверь воеводской избы. Тотчас же изнутри послышался голос Досифея:

– Кого еще там леший несет? Воду на пороге оставьте, сказано вам – сюда не лезть!

– А вот и влезу!

От звука этого голоса Досифей будто сразу уменьшился ростом, мгновенно кинулся к двери и отомкнул ее. Стучавший вошел в избу.

– Хозяин! Семен Иоаникиевич! Не ждал, не гадал!

– Вижу, с пленницей беседуешь?

Строганов мельком оглядел обстановку, заметил снятый Досифеев крест, брошенную нагайку и забившуюся в угол пленницу.

– Замечаю, ладком потолковал? Дознался, что ли? Утешь боярина-то!.. За месяц, как погляжу, совсем сдурел в Чердыни? Кто тебе велел набегами заниматься?

– Так Игва Чердынь палить собралась!

– Вот как? Чердынь пожалел? Москве не впервой крепости свои заново отстраивать, а у нас дела есть и поважнее. Земли новые я приглядел, тебе поручить хочу, а ты под саблю полез? Кому служишь, царскому воеводе или Строгановым?

– Святой Руси, хозяин, служу, сыт же и пьян возле твоего богатства.

– Ишь ты, выкрутился! Неплохо отвечаешь. Даст вот батя тебе за самовольство. А ежели бы тебя кончили там, на Уступе, как мне перед батей отвечать? Впрочем, за то, что птичку эту татарскую полонил, спасибо мое тебе. Только удалью своей ты ожиревшему воеводе чести прибавил. Он не отпишет в Москву, что татарку ты полонил: своей дружине награждение выпросит.

Запыхавшись от быстрой ходьбы, в горницу вошел сам боярин Орешников.

– Так и есть! Не поверил, когда сказали, что дорогой гостенек пожаловал. Низкий поклон тебе, Семен Иоаникиевич.

– Здравствуй, Захар Михайлович. Как тебе можется? Что-то ты с лица и с тела вроде бы спал? С чего бы это?

– И не спрашивай! Слышал, что сдеялось? Напасть вот эта девка собиралась на Чердынь мою; бесчисленные воины татарские кругом в лесах хоронятся. Спасибо твоему Досифею, про

мурзихин стан проведал, гнездо осиное вовремя разорил с нашей помощью и божественным промыслом.

– Опять за старое? Сколько раз тебе говаривали, чтобы ты татар не боялся, пока Аника Строганов с сыновьями в камском краю повод людской жизни в руках держат. Мы людей бережем, край держим крепко; так что никаким татарам, соберись они хоть со всего Сибирского ханства, его не вырвать.

Не на Чердынь вела своих воинов Игва! На меня вела, потому зимусь ее отца со свету убрал. Сдуру девка шайку свою к Чердыни подвела, думала, наверно, что и это – строгановский город, а нагнала страха на тебя, царского слугу. Авось проснешься теперь! Великий государь Иван Васильевич послал тебя Русь в крае оберегать, а ты людишек в крепости не бережешь, службу царскую нерадиво несешь, только в городки с епископом играешь. В Соликамск вон уже нового воеводу прислали. Небось и этот обожрется да околеет, дел добрых не совершивши.

– Да бог с ним совсем, Семен Иоаникиевич! Боярыня моя просила тебя перед ее очи предстать. Пойдем в хоромы, гость дорогой, а то осерчает.

– Пойдем. Девку татарскую хорошо карауль, не упусти!

– Что ты! Упаси бог! Досифеюшко, и ты с нами ступай, мы с боярыней и тебя к столу просим.

– Спасибо за великую честь, боярин Захар, тотчас же следом приду. Покамест надо с Игвой ладом беседу заключить, водичкой ее попоить, а то сердце у нее от гордыни и обиды перегорит. Чать, все выложила – пора слезы унять.

Строганов хлопал по плечу своего доверенного.

– Смотри, смотри, как бы ее слеза тебе дырку в сердце не прожгла. А перед боярыней твоей, Захар Михайлович, я голову низко клоню, ибо, вот уж правду сказать, не свадебная она княгинюшка, а настоящая боярыня русская. С нею знаться – поистине ума набраться!

Спускаясь с высокого крыльца воеводской избы вместе с хозяином, Семен Строганов говорил будто в раздумье:

– И отчего это другой раз баба на Руси и смелее, и дальновиднее иного мужика, как ты о сем думаешь, Михайлыч? В обиду сам не прими – ты, воевода чердынский, без лести сказать, и мудростью не обделен, и храбрости тебе не занимать, только вот, прости господи, чуть крепость свою не прозевал. Но вот ответь, Захар Михайлович, кто нам, Руси святой, еще богатырей-молодцов подарить может? Кто, окромя таких, как боярыня твоя? Их-то сынами слава и непобедимость Руси держатся... Прямо, без кривды, скажу: как ночь, темна сейчас жизнь на Руси. Кровью залита и пропитана земля Русская – и нашей, именитого купечества, и вашей, честной боярской, а паче всего – кровушкой смердов и холопей наших. И надежда моя, коли знать хочешь, на бога да жену русскую – и боярскую, и крестьянскую, и купеческую. Чтобы разумом, нежностью, страданием и молитвами вразумили нас, мужиков грешных, как Русь из любых бед бескровно вызволять!

6

Белокрылым лебедем слетела на Чердынь северная ночь.

В ее сумеречном свете – свое особое очарование. Кажется, просто нахмурился ясный день, но в небе приметны высокие звезды, а от этого явь оборачивается небылью. Все вокруг в дымке, нет теней, и обманчиво сокращаются расстояния...

Белыми ночами, когда нет привычной темноты, в людском разуме заводится беспричинная тревога. Власть мечты осиливает человека. Людей тянет идти куда-то, без всякой цели, их покидает покой. Приходят в голову суматошные мысли и отгоняют потребный для жизни сон...

Чердынь спит. Белую тишину нарушает только переключка дозорных на стенах, да изредка слышен собачий лай. Сады и леса в серебристо-оловянном мареве. А на небе, где взмахи лебединых крыльев, нет-нет да и полыхнет то студеной голубой, то жаркий красный отблеск полярного сияния. Чердынь спит. Снятся горожанам сны. Кто видит сказки, а кто во сне повторяет прожитое днем...

В опочивальне Анны Павловны Орешниковой потолок навис низко. Одно окно раскрыто, но все равно – духота. Ночь без ветерка, листок на дереве не шелохнется.

Красный угол опочивальни увешан образами-складнями; на них шевелятся желтые пятна от огоньков четырех лампад. Вдоль стен под накинутыми ковриками – сундуки с добром. Мглисто в опочивальне...

На смятой перине, разметав по подушкам черные волосы, боярыня Анна отходила от жарких ласк Семена Строганова. Сам он, с расстегнутым воротом рубахи, прислонился лбом к открытой оконной створке. Его голова почти касалась потолка. Смотрел на белую ночь. Видел березы с намокшей от росы листвой, крепостную стену, а на ней дозорного с алебардой.

– Родимый, как хорошо мне с тобой! – шептала Анна. – Все во мне ласка твоя разбудила. Поди послушай, как сердечко мое колотится.

Строганов подошел, протянул руку к Анне.

– Да разве так слушают? Ухо к груди приложи. Вот теперь хорошо слышишь? Будто пташка из клетки на волю просится.

Он молчал и слушал, как трепетно билось женское сердце, а у самого опять сохло во рту и перехватывало дыхание. Опять стали совсем близкими прищуренные глаза Анны, опять приоткрылись влажные губы... Обняла, запустила пальцы в кудрявые волосы, прильнула к губам. И когда он ответил мужским объятием, женщина смогла только прошептать:

– Сеня, родимый, не удуши...

Анна приоткрыла глаза, когда дышать стало опять легко. Лежала не шелохнувшись, прислушиваясь к стуку мужского сердца рядом и звону серебряных колоколец в собственных ушах.

Давно прошла белая, бестеменная полночь. К утру цвет неба изменился, с восхода пошли тучи, и в опочивальне стало потемней. Строганов уж приготовился уходить. Полуодетый, он снова подошел к раскрытой створке окна.

– Боюсь тебя, Сеня, когда замолкаешь.

– Пора мне.

– Аль надоела уж?

– Скоро челядь поднимется. Как скрыто уйти тогда?

– Не уходи вовсе. Вместе солнышко встретим.

– А если сам пожалуйет поутру?

Анна засмеялась:

– Какой пугливый стал! Видел, поди, сколько он меду выпил? До полудня никуда из воеводской избы не выйдет: во хмелю сюда прийти не смеет. Окромя того, Глашка крыльцо караулит. Чуть что – весть подаст.

– Догадывается? Сам-то?

– Догадывается. Грозовой тучей бродит, когда ты в крепости.

– Тебе говорил о своей догадке?

– Да разве посмеет? Молчит, сопит да от ревности бессонницей мается.

– Аннушка!

– Говори, родимый.

– Скушно мне без тебя. До того скушно, что иной раз совладание над собой теряю.

– А вот и возьми меня с собой. Молви только слово.

– Попросту об этом судишь.

– Как умею. Чать, всего-навсего баба. С отцом говорил?

Строганов промолчал.

– Отец, наверно, по старине рассуждает: дескать, нельзя чужую жену, да еще у престарелого мужа, отнимать. Сам-то небось ни одну бабу чужой не почитал, а на старости о грехе да о заповедях заговорил.

– Отец знает, что у твоего муженька заручка у царя крепкая. Уведу тебя, а старик царю нажалится. Царь заставит обратно отдать. А разве взятое отдам?

– Батюшки! Какие Строгановы боязливые стали! Даже подумать бояться, что царь на них осерчает.

– Нам с ним ссориться нельзя.

– Конечно. Осерчает да и не станет захватными землями одаривать.

– Пойми, Аннушка!

– Где мне понять? А думать мне неохота, голова заболит. Врешь мне про отцовский запрет, задумав о чем-то, от меня тайном. Дура, мол, Аннушка: очумела со старым мужем. Заволокла ей любовь ко мне разум, а потому всему поверит... И то верно, что дура! Надо было мне наперед, как к себе допустить, уговор вырядить: возьмешь к себе – твоя. Не возьмешь – чужая жена. Скажи на милость, чего боишься? Коршуном по всей Каме на людские жизни кидаешься, ежели нужно тебе. А меня у старика взять не можешь!

– Кидаюсь, говоришь? Но, коли кинусь на тебя, жизнь твоя кончится, а ты мне живая нужна.

– Тебе, видать, ворованная ласка слаще кажется? Ты лучше правду гольную скажи. Неохота тебе свою вольность мне одной отдать, когда вокруг да около по краю боярыни шмыгают. Любая Семену Строганову лаской повинится, потому понимает, что ты здесь хозяин земли. Все здесь ваше.

– Аннушка!

– Может, татарка полоненная приглянулась? Слыхивала, что татарские бабы мятой да дымом пахнут. Была бы мужиком, мимо не прошла бы.

Строганов порывисто повернулся и пристально посмотрел на Анну.

– Чего глядишь? С татаркой сравниваешь? Ликом ей до меня далеко, зато годами моложе, а главное – девка.

– Дура ты.

– Была ране. А с этой ночи умная буду.

– К чему клонишь?

– Скажу. Вот к чему клоню. Надоело временами свою душу подле тебя греть. Скажу сейчас о давно надуманном.

Анна села в постели, охватив руками колени.

– Послушай, Семен. Поглянется тебе или нет, все равно запомяни сказанное. Ежели на этот раз из Чердыни поплывешь на Каму и меня с собой не возьмешь, то дорогу ко мне навек позабудь.

– Грозишь?

– Понимай, как тебе на сердце ляжет. Возьмешь – вся твоя. Не возьмешь – вспоминай на досуге, что звали боярыню-полюбовницу Аннушкой. В Москву подамся. Там, сказывают, царь Иван жен, как в бане веники, меняет. Может, на глаза ему попадусь и хоть на месяц в ряд с ним царицей на Руси встану. Вот тогда Строгановым грамот дарственных на земли получать не доведется.

– Молчи.

– Неужели? Что сделаешь, если ослушаюсь и не стану молчать? Поди, по-строгановски за горлышко приголубишь и ласкать станешь, пока язык не посинеет?

- Дуреешь ты, Анна. В силу свою веришь над моим разумом.
- А ты покажи, что нет над твоим разумом моей бабьей силы!
- Строганов шагнул к Анне, но она не пошевелилась.
- Коли хлестнешь, укушу. Хлещи. Чего ждешь?
- Не про то молвишь... Не надо меня Москвой пугать.
- Ласково заговорил? Решай сейчас: уйдешь один – дверь сюда навек запру.
- Строганов прошелся по коврам опочивальни.
- Погоди до осени. На Косье острог поставлю. Далеко на новых землях. Там жить станем.
- Не обманешь?
- Когда обманывал?
- На иконы перекрестись.
- Без этого не веришь?

Анна помотала головой. Семен вздохнул и размашисто перекрестился. Анна вскочила с постели, кинулась на колени, прижалась головой к его ногам.

– Мой, стало быть? У всех отняла Строганова Семена.

На дворе в клетке заголосил ранний петух, а через минуту-другую началась перекличка петухов по всей Чердыни...

Глава четвертая

1

Над ночной рекой погуливал с озорными порывами ветер.

Струг хозяина Камы, Семена Строганова, заплыл на ее стрежень из Вишеры.

Раскидывая в темень оранжевое пламя, похожее на отсвет лесного пожара, готовилась взойти полная луна. Ее шар, огромный и багровый, как шаманский бубен, облитый жертвенной кровью, наконец поднялся над рекой и лесами.

В синем небе низко повисли спелые звезды.

Вода ночью в Каме, как смола. Мечутся по ней, будто вскипая со дна, белопенные буруны. Берега скрыты темнотой, но лесные шумы, завывания, стоны и треск слышны на струге – это гуляет по лесам ветер. Для струга он попутный. Судно бежит, обгоняя сильное течение.

Лесные просторы верхнего камского плеса самые дикие. Даже кочевники сторонятся их. Пока эти леса боятся только двух хозяев – ветра да огня. Первый корчует и валит лесных великанов, второй превращает в пепел заповедные для человека чащи.

Кама! С X–XI веков стала она дорогой к диковинам Перми Великой для землепроходцев с Руси. Их древнейшие погребения остались на камских берегах вечной памятью о тех, кто живот свой положил за право величать Каму русской рекой.

Везли новгородские купцы тамошним кочевым финским племенам – чуди, черемисам, вогулам, остякам, перми – товары с Руси и доброе слово о благодати оседлого житья. В тринадцатом лихолетском столетии шастали здесь шайки ханской Орды, поднимались на Каму с Волги, потом вконец разорили в низовьях княжество древних болгар, дали Каме-реке свое прозвище – Ак-Идель, что означало Белая река.

Однако и золотоордынцы не смогли отбить у новгородских людей охоты селиться на Каме. Становились по берегам остроги, городки и починки. Очищались от кокоров первые просеки – под хлеб. От набегов кочевников оставались на пожарищах погосты с крестами, но дотошный народ, отмерявший лесные версты на глазок, заводил и рыболовство, и бортничество, торговлишку мягкой рухлядью, устраивал здесь жизнь по старинному навыку, считал зверя в лесах и рыбу в водах с беззастенчивым прививром.

При Иване III Русь начала под чистую метлу подметать землю отчизны от навоза долгого татарского постоя, скидывать, шевеля натруженными плечами, последние остатки ига.

Камские поселенцы-новгородцы, настойчиво приучая кочевых соседей к оседлому укладу, заключали ряды с князьками и шаманами, заявляли равные с ними права на богатства камского края. После споров и драк обе стороны расходились, не осилив друг друга ни мечами и бердышами, ни ножами и огнем.

По приказу Ивана III князь Федор Пестрый и воеводы Гаврила Нелидов и Василий Ковер поднялись по Каме в Великую Пермь для распознавания причин споров между камскими жителями. Царь наказал воеводам быть твердыми и в случае, ежели не удастся замирение добром, воевать для покоя Руси камские земли у пермских князьков, а заодно и у новгородцев, ибо они, по Шелонскому договору, приписали Великую Пермь к своим владениям, брали с нее дань.

Добром дело не обернулось, и московским миротворцам пришлось применить силу. После разгрома пермской рати и пленения ее полководца Качалмы камский край признал власть Москвы. И тогда-то посадские люди Новгорода, братья Калининковы, впервые завели солеварни на угодьях речки Усолки, неподалеку от будущего города Соликамска.

Из-за спора великого князя Московского и всея Руси Василия III с Новгородом усилился исход вольнолюбивых людей новгородских на Каму. За ними пошел в плутания ватагами, или, по-пермяцки, утугами, разный прочий люд, недовольный новыми порядками на Руси.

Нужда и страх вели в лесной край – на Каму, Вишеру, Чусовую и Колву – людей, непокорных властям, но терпеливых и неутомимых в труде. Не чаяли они обрести на новых землях жизнь легкую, но шли сюда, чтобы жить и трудиться вольнее, уйдя от строгостей и кровавых споров церковных, распрей боярских, бремени поборов, от войн, правежа, суда неправого и царских немилостей. Шли сюда и люди работные по выклику купцов, затевавших в новых местах промыслы и торговые дела.

И когда наступили времена царя Ивана Грозного, времена царской опричнины и земщины, там, в камском крае, уже сложился свой уклад жизни, и был он примерно одинаков во всех городках и присельях, что на Колве, что на Вишере, хотя сошелся в эти поселения самый пестрый народ со всех концов Руси. Были ведь и такие головушки, коим и в новых местах вольности не хватало, и если царский закон и здешняя власть прижимали круче, то такой удалец вынимал из-за пазухи нож и приставал к разбойному люду на лесных тропках-дорожках... Но и на таких находилась здесь упряжь! И находили эту упряжь не царские воеводы, не блюстители закона, а совсем другие люди – кремни. Было их мало, но этой людской породой и становилась Русь владелицей суровых и дальних краев, с богатствами явными и тайными...

Как раз при грозном царе Иване разнесло голосистое эхо Камы зычный голос купца-солевара с русской реки Вычегды, голос Иоаникия Строганова.

Объявился он на Каменном поясе с тугой мощной и с немалым опытом солеварения, накопленным еще в родных краях, на речке Солонихе. Той солью присыпали вычегодскую и двинскую красную рыбу – на том и разбогател Строганов. А придя на Каму и тут утвердившись, мыслили купцы Строгановы присыпать отныне камской солью весь хлеб, что, благословясь, сажает в печь хозяйка каждой избы на Руси!..

Небо стало голубым, высоким и прозрачным, как ключевая вода. На виду – речные берега, то высокие и крутые, то низкие, заливные. От прибрежных лесов густые тени между лунными бликами. Стелется по воде рогожка лунного отражения.

Гонит ветер по лунной Каме струг под белым парусом. Вышит на нем цветным шелком сохатый с синим крестом между рогов. Струг большой, широкий. Для плава выбирает места поглубже, чтобы днищем не скоблить речное дно. От тяжести струг дал глубокую осадку, а как ему не отяжелеть, когда пищали несет! На корме срублен домик под плоской крышей, из

его слюдяных оконеч гляди в любую сторону. Нос красиво выгнут, и прилажена там, спереди, икона Николая-угодника, покровителя странствующих и путешествующих на водах.

Пробегают струг мимо речных заводов. Доносится с них переключка лебедей-кликунов, да такая печальная, что берет за сердце. Одинокие царственные птицы летают над рекой, путая день с ночью, верно, из-за лунного волшебства. Подлетают они и к самому стругу и призывно курлычат, будто жалуются на невзгоды крылатой своей судьбы. Лебеди! Кочевники и русские сложили на Каме много мудрых преданий про эту птицу, и блюдут здесь люди неписанный закон о ее неприкосновенности.

На носу собрались удалыцы-ватажники Семена Строганова. Все они лихие парни, вышедшие на Каму из Вологды и Углича по выклику. Сидит с ними и беглый костромич Иванко Строев. Его разговор с хозяином в Чердыни был коротким. Приказано было плыть на хозяйском струге. Слушают ватажники седого гусяря родом с Волхова.

Шевелят старческие пальцы струны гуслей, и льются слова старины про князя Александра Невского и про подвиг Руси в Ледовом побоище на узмени Чудского озера у Вороньего камени... Голос у гусяря еще густой, всякое слово выпевает внятно. Поет с закрытыми глазами, а ветер раздувает, закидывает за плечи белые космы его бороды.

Рядом с гусярем Досифей временами вторит пению надтреснутой октавой. На плоской кровле избы стоит в рост кормчий, чернобородый ушкуйник с Ладоги, скрипучим рулевым веслом направляет путь струга.

Под парусом у мачты отворен люк. Там в темноте внимает непонятному пению плененная Игва.

Семен Строганов любит слушать на воде старые песни и былины, любит помечтать о будущем камского края, когда утихомирится разбой, прекратятся набеги сибирских татар. Мерещатся Семену строгановские города, более могучие, чем Кергедан и Конкор. Города с неприступными стенами, чтобы от одного погляда на них всякий почувствовал величие Руси. Недаром сам царь Иван Васильевич дал Строгановым власть крепить усторожье Руси на дикой, лесной Каме.

Семен Строганов, склонив голову, вышагивает по стругу, и, кажется, нынче не веселит его песня гусяря. Ватага знает норы хозяина, и хмурость Семена Аникьевича молодцам его не в диковину. Но сегодня людям понятно: что-то тревожно, неладно у него на душе.

Бежит и бежит струг по лунной Каме, больше на свету, а то вдруг нырнет в береговую тень. Слушая ночные шорохи и стоны по берегам, кормчий нет-нет да и перекрестится.

Но вот речное эхо донесло издали чье-то заунывное пение. Постепенно оно усилилось, как отзвук дальнего грома. На струге примолкли. Стихли струны гуслей. Парни всматривались в даль, неясную в лунной мгlistости. Пение все приближалось, и, когда струг вышел из-за поворота, открылся всем знакомый крутой мыс, где над высоченным каменистым обрывом вогулы издавна собираются на свое мольбище. Сейчас здесь пылает пламя больших костров, разносится вой шаманов под звон бубна и барабанов. Возле костров – толпы людей. Ветер сдувает с мыса густой дым, прижимает к воде, стелет по реке белым саваном.

Строганов крикнул кормчему:

– Стремнина здесь. Не оплошай, Кронид!

– Не тревожься, хозяин! Под мыс не поднесет, пока в руках сила не ослабла.

Досифей проводил взглядом обрыв.

– Опять шаманы на нас, грешных, народ науськивают. Ладно, сей раз пронесло. Садись, дедушка, допевай.

Всем на струге понятен смысл Досифеевых слов: держать близко к этому береговому мысу опасно: того гляди, дождешься певучей смертоносной стрелы!

Мыс с дымными жертвенными кострами – далеко позади. Гусярь опять запекает старину. И каждому на струге кажется теперь, будто песнь – про сегодняшнее, близкое...

Да, царь отдал Каму Строгановым; поставлены на ней Строгановыми вежи. По царской грамоте земли камские – строгановская вотчина, но не все кочевники знают, что написано в грамоте, и для них она не закон. Но зато любой кочевник знает белый парус приметного струга, знает, что хозяин его не больно жалостлив, когда кто-либо не податлив его хозяйской руке...

Аникий Строганов отдал в руки сына Семена надзор за камскими берегами от чердынских угодий и по Вишере до самых ее верховий. Наводя здесь свои порядки, Семен опирался перво-наперво на законы свои и лишь потом – на государственные, когда приводил за собой царских слуг и церковных проповедников. Он на свой лад понимал утверждение Руси на Каме...

Ветер после полуночи стих, парус струга, обвисая все ниже, шлепал холстиной по мачте, как бабы вальком по мокрому белью. Реку запеленал туман. Он напелзал из мочагин и сырых низин береговых оврагов.

Давно перестал петь гусяр. Разошлись по своим закуткам парни. Досифей спал, растянувшись на досках. На носу дозорный по окрикам кормчего промерял шестом речную глубину.

Иванко Строев стоял у борта, а рядом, положив руки под голову, лежал на лавке у раскрытой двери корабельной избы Семен Строганов. Он заметил Иванка, спросил:

– Слушаешь, как наши леса шумят?

– Слушаю, хозяин, как твой струг воду сечет.

– Никак, недоволен стругом?

– Знамо дело. Тяжелый. Как заморенное водой бревно на реке лежит. Грузен. Нет в нем легкости на парусном ходу, а уж под веслами с гребцов, как в бане, пот выжмет.

– Может, и причину грузности знаешь?

– Причина знаткая. По старому канону изложен. Дуга днища не в том аккурате изогнута. Она ему ходкость убавляет.

– В Кергедане будешь новые струги ладить по своему разумению. Ходкость и мне по душе.

– Струг надо ладить, чтобы речная вода на ходу веселым голосом под ним пела.

– Под моим не слышишь веселости?

– Да откуда ей быть? Плещется вода под нами, как старушечий говорок. Ко сну от него клонит.

– На словах у тебя все гладко выходит. Погляжу, каким на деле окажешься.

– За струги бранить меня не станешь. На воде пухом будут лежать.

– Понимай, легкость в стругах нам для защиты от ворогов нужна. Сам ты свидетелем в Чердыни был, что сибирские татары против камских земель задумывают. С острым ухом приходится жить. Что не спишь?

– Успею. Каму охота поглядеть. Впервой ее вижу.

– Еще наглядишься.

– Доброй ночи, хозяин.

– И новый наказ мой запомни. С часу, как сойдем на берег в Кергедане, для всех станешь Иваном. Нельзя тебе Иванком быть. Откуда ко мне пришел, только сам помни. Любопытство людское не ублажай...

Охватило Семена раздумье о тех двадцати четырех годах, что унесло ледоходами Камы в неведомый ему Каспий. Все эти годы он помогал отцу богатеть. От отца перенял купеческие ухватки, но сам прибавил к ним свое, совсем не купеческое бесстрашие, суровость, безжалостность ко всем, не исключая и самого себя.

С глазу на глаз с вечной опасностью, среди неумолимой природы, выискивая новые земли, он воспитал в себе привычку к одиночеству орла в небе, только жил без орлицы, без

ласки. В молодости не целовал женщину по зову сердца, целовал, только чтобы погасить жар в крови.

Недавно стал вот понимать, что молодость прошла, а душа не согрета тем, чем все люди ее согревают. Стало труднее сносить одиночество; задумывался о тех временах, когда подкрадется старость. Но стоило только вспомнить о своем назначении на земле, об огромном, все еще не замиренном лесном крае, как все личное уступало место иным думам, иной, самой главной тревоге: за будущее всего строгановского рода и его огромных богатств. Рождалась эта тревога от многих причин, но чаще всего, когда слышал о распрях между братьями, Яковом и Григорием. Своих братьев он не боялся, споры их будили в нем энергию, он умел быстро разнять, утихомирить несогласных. Порой они напоминали ему кобелей, грызущихся из-за кости, которую ни тот, ни другой не в силах отнять. Опаснее была для Семена глухая тоска, когда охватывала усталость, нападавшая вдруг: не хотелось тогда двигаться, даже шевельнуть рукой, пропадал интерес к делам, приходило желание лечь на спину, смотреть на облака и не допускать до сердца и ума никаких мыслей о судьбах края и рода.

Когда накатывалась на Семена такая тоска, ему стоило огромного труда встряхнуться, заставить себя шагать, действовать, бороться. Семен Строганов обращался тогда к самым смелым мечтам, к самым дерзким помыслам. Ведь у края под боком – необъятное Сибирское царство. Захватившие его татарские ханы хорошо видят, как близко подвели к нему Строгановы Русь Московскую.

Притихли ханы лишь до поры до времени, покамест разведают силы русских и соберут свои. Если бы эти властители Сибири смогли победить междоусобицу, достичь согласия между собой, несдобровать соседнему краю Каменного пояса – вотчине строгановской! Страшно подумать, как пожрут и испепелят пожары все созданное в крае. Предотвратить такое бедствие можно лишь одним путем – самим пойти на татар, за хребет Рипейских гор.

Самим пойти? Сколько же для этого требуется удалцов, сколько золота, сколько прочих богатств? Где взять их даже таким купцам, как Строгановы?.. Впрочем, разве он, Семен Строганов, ведает то, чего не ведает никто: какие скрытые богатства таят в себе леса и недра Каменного пояса по сию и по ту сторону хребта.

Семен-то кое-что слышал от пленных вогулов и от татар: есть, мол, в твоём крае и золото, и камни бесценные, и руды. А где все это спрятано в кладовых земли камской? Как дознаться?

А дознаться-то надобно поскорее, иначе дознаются другие, и все то, во имя чего прожита была жизнь отца, во имя чего пролетела собственная молодость, все то, что оплачено немалой кровью и великим потом работных людей, уйдет в другие руки, а то и просто на поток и разграбление. В своих же строгановских руках богатства эти превратятся не просто в великую силу, а откроют вдобавок дорогу к Сибири, к богатствам еще большим и уже вовсе неведомым.

Семен чувствовал, что одному такого дела не поднять, не осилить. Но помогать-то было некому! Отец одряхлел от старости, износился телом и духом, тянулся теперь к богу, замаливая грехи молодости, стараясь отвратить загробную кару, избегнуть адского пламени.

Оставались братья. Семен только морщился, когда думал о них. Поэтому искать силу приходилось в конце концов только в самом себе, и сила эта должна утвердить Строганова в крае навечно, как вечны здесь воды самой Камы, отражающие небесные звезды.

Была еще у Семена слабая надежда найти помощь в племянниках. Но они еще не под его рукой. Их надо не спеша научить строгановской хватке, но и в них уже проявляется то, что взяло власть над братьями: лень и беспечность.

Братья! Яков Строганов почти и в глаза не видел камского края. Живет в Москве. Из купеческой шубы, из московских хором не вылез. Ест по-столичному сладко, уминает боками перины лебяжьего пуха. При царском дворе пыль в глаза пускает отцовским богатством. Всегда чутко прислушивается, что подумывает государь о делах отцовских на Каме, кто из бояр и дворян ему напраслину на Строгановых нашептывает. Смотрит, как бы не прозевать опасно-

сти, когда надо вовремя умаслить, бобрами на шубы одарить, ежели почему-либо строгановский камский возок вязнет в московских сплетнях.

Григорий – тот слишком суеверен. Живя здесь, в крае, боится звериного рева. Храбрится там, где бояться его самого, но при виде крови закрывает глаза ладонью. Любит хлестать слабого, выжимать полушку у голодного, зная, что тому некуда податься, ибо на камской земле – везде Строгановы, а уйти назад на Русь заказано законом. Григорий не в меру труслив, зато в меру умен, хотя и хитер, как всякий купец.

Григория растила мать, он маменькин сынок в семье. Она сызмальства запугивала его темными углами горниц, ликом грозного господина бога, и этим же ликом Григорий пугает теперь отца. Зачем пугает, с какой целью? А все затем, чтобы старик скорее разделил богатство, ибо Григорий надеется получить львиную долю.

Семен давно решил, что не допустит Григория властвовать в диком, необжитом крае: как необъезженный конь, этот край разнесет строгановский возок, попади вожжи в слабые руки брата. Потому и нельзя допустить родительского дележа строгановского богатства. Налетят на опрокинутый возок, давя друг друга, разные прихлебатели, близкие к царскому двору, растрясут, растащат богатство.

Известно Семену, как с каждым годом теснее смыкается круг завистливых врагов. Как вороны, каркают они царю на Строгановых, будто бы те сами метят в цари, хотя пока, мол, не в московские, а еще только в камские. Всякое лыко готовы враги поставить в строку роду Строгановых, лицемерно сетуют насчет строгановской жестокости в обращении с простым народом.

Семен и сам знал, что нелегко живется народу в строгановских вотчинах. Ему часто казалась излишней прижимистость отца и брата, но он не мог за всем усмотреть один, а иногда ощущал свое бессилие бороться с самодурством старика и алчностью Григория.

Двадцать четыре года прожиты Семеном в крае не напрасно. Его струг избегал Каму и впадающие в нее реки до их верховьев. Семену ясно, что эти реки – единственные пути-дороги края, только они и помогают осваивать эту землю, а потому на них-то и необходимо ставить больше крепостей. Лесу здесь хватит на сто городов таких, как Новгород, но маловато умелых рук да смекалистых голов.

Строгановы кликают народ с Руси, но идет он с большой опаской; недруги на Москве и враги-завистники в других городах Руси пустили слухок, будто Строгановы заживо с работных людишек шкуру сдирают, непосильным трудом народ на варницах гноят. Сколько ни подкупай завистника, все равно досыта не задаришь.

Люди Семену нужны! Хочется ему научить их понять, полюбить этот край не только за то, что умелец может здесь за недолгие годы на весь остаток жизни поправить карман. Нет, Семен Строганов сам любит Каму за дикую красоту и необузданную силу, потому и рад он видеть рядом с собой побольше таких же людей, охочих до нелегкого счастья! И порой он находит этих людей. Вот хотя бы тот же Иванко... Чутьем догадывается хозяин, что в этом парне найдет не простого ремесленника!..

Семен теперь уже не боится думать о скорой смерти отца. Станет тогда проще вышибать из брата неразумную скупость и мелочную жадность. Отец и сам стал на старости таким, но Семен никогда не осудит вслух, не поднимет руки на отца – старость всегда чудная и часто меняет людей!

Туман над рекой все гуще и белее. Он уже заползает с воды на струг.

Подумал Семен и об Анне. Мысль эта вытеснила все прочие раздумья. Анна возникла перед ним, как живая, а в ушах зазвенел ее голос. Порой думалось, что уж не нарочно ли подослал кто-то эту женщину в его жизнь, чтобы затуманить ему рассудок. Сознавался себе сам, что и эту гордую боярыню первый раз обнял с голоду по женскому телу, но потом... Потом он стал все более и более ценить ее, дорожить ею. Что привязало его к Анне? Властная душа ее или еще более властный дурман белого тела, от которого обмирал рассудок? Никогда не боялся

он ничьих угроз, а когда Анна в последнее свидание пригрозила ему разлукой, он почувствовал настоящий страх.

Лежал Семен и слушал переключку кормчего с дозорным промерщиком, услышал слова про туман... До восхода солнца кормчий решил пристать к берегу.

На носу промерщик, вытягивая шест из воды, невзначай окатил спавшего Досифея. Тот приподнялся, отряхиваясь, а виновник, зная нрав Досифея, поскорее отбежал в сторону. Строгановский доверенный усмехнулся:

– Не бойся, курчавый чемор. Понимаю, что ненароком окропил. Неужли к берегу воротим?

– Туманище. Ничегошеньки не узришь.

– Пожалуй, что и так.

Досифей подошел к хозяину.

– Не спишь, Семен Аникьич? А я успел смотать сна моточек бабе на платочек. Жестко только. Видать, кость во мне все ближе скрозь мясо к коже лезет.

– Чего ради стал, Кронид? – спросил Семен у кормчего.

– Боязно, хозяин. На Щучьих ташах можно струг разбить. Вот передохнем малость, и прояснеет на Каме. А пока хочу гостью нашу спросить, каково ей с нами в пути можется. Все же живая душа, хотя и нерусская.

В ответ на слова кормчего Досифей засмеялся:

– Ишь ты! Женатый, а на девку глаза косишь? погоди, скажу Настасье, она спину вальком тебе прогладит! Вороти к баскому сухому месту, надо ноги на земле поразмять.

– Вместе пойдем на берег, – сказал Семен.

– Как хочешь...

Солнце уже начинало пригревать, а густой туман все еще прятал причаленный к берегу струг.

Семен Строганов и Досифей шли прибрежным лугом, приминая ромашки и колокольчики, обмытые обильной росой.

– Так и запомни, Досифей. Денька два пображничаешь в Кергедане, на отца моего в Конкоре поглядишь, каким стал, и – за работу. Григорию ни единого слова о том, куда подаешься. После ледостава сам к вам на всю зиму приеду жить.

– А ее когда на Косьву из Чердыни везти?

– Боярыню Анну привезешь, когда лист с березы осыплется.

– Силой взять придется?

– Добром поедет. Пошлешь только к ней человека упредить. Она пойдет в лес по грузди, а в лесу ты велишь вогулам ее схватить. Сам в Чердынь носа не показывай.

– Воевода шум великий подымет.

– Уж больно шибко зашумит – ты его роток и прикроешь.

– Понятно. Игву в какое место приткнешь?

– Бате нашему покажем, а после с собой на Косьву прихватишь.

– Не замай! Там она не нужна.

– Возьмешь. Понял?

– Да из-за нее мои мужики дуреть начнут.

– Эх, брат, вижу: борода седая выросла, а ума не вынесла! Мужики в острог подадутся с женами! Вот и велю я тебе эту Игву взять, чтобы ты там на чужих баб не заглядывался.

– Тогда окрестить сперва надо!

– Ну и что? Попа, что ль, не упростишь? Овчинка-то выделки стоит.

– Да, слава богу... Зачем острог на Косьве решил ставить? Неужли с нее к Чусовой руки потянешь?

– А может, и подальше. Может, в самое Сибирь.
– Сказал тоже! Это у тебя от бессонницы с языка слетело. Хошь ты и Семен Строганов, но про Сибирь и тебе заговаривать раненько. Еще отчий дом не обжит ладом!

– Поживем – увидим. Коль память не коротка, должен вспомнить: все, о чем когда говорил, все и оживил на камской земле.

– Мне что? Поживу и увижу, ежели ждать не век.

– На Косьве новое богатство на примете есть.

– Невидадь какая. Медведей везде пропасть.

– Камень горючий нашли мужики.

– Какой камень?

– Горит жарким огнем, какого от дров не бывает.

– Не пустое ли бают?

– По-чудному мужики на тот камень наткнулись: увидели на берегу Косьвы; из себя – черный, поглянулся им. Наломали и решили из него в бане каменку сложить, пар поддавать. Сложили, затопили каменку, а она и загорелась страшным жаром, от которого баня занялась пламенем. Ты рот не разевай! Будем живы, так еще и не такое в этом краю найдем. Самоцветы бы отыскать.

– Золото бы найти, хозяин.

– Верю, что есть здесь и золото.

Со струга донесся голос кормчего:

– Хозяин, время дале бежать! Гляди, сохнет туман.

– Пойдем, Семен Аникьич, а то от твоих сказов в моей башке воробьи зачирикали. Камень горючий! В сказках о нем поминают, но ведь на то и сказка. Дитя малое поймет: баня сгорела оттого, что каменку мужики плохо сложили. Поверю, когда своими глазами увижу, как косвинский черный камень пламенем берется.

– Больше моего в крае прожил, а нового, что неприметно лежит, разглядеть не умеешь!

– Зато на тебя, хозяин, да с батюшкой твоим, вдосталь нагладелся. Прости господи, еще, пожалуй, лесенку в небо узрю да от вас и полезу прямо к апостолу Петру... Пойдем на струг! Туман давно поредел.

Но едва они подошли к стругу, как из ближнего леса свистнула стрела. Возле самых ног Семена Строганова она чуть не наполовину впилась в речной песок. Досифей резко кинулся в сторону, пропуская Строганова вперед.

– Никак, напугала тебя? – спросил тот спокойно.

– Проклятый! Из засады!

Строганов наклонился и вытащил стрелу.

– Черемис с тетивы спустил. Оперенье воронье.

– Не унимается у нас разбой этот.

Досифей заслонил хозяина, отступая к стругу.

– Не заслоняй! Себя береги. Верю, что умереть суждено мне не от стрелы.

– Брось ее, хозяин!

– Нет, не брошу. Все пущенные в меня стрелы берегу. Пока мимо пролетают. Эта вот – двадцать осьмая по счету...

Глава пятая

1

Начинал богатеть строгановский род не с Иоаникия-купца. Еще дед его Лука Строганов с великой честью попал на летописные страницы: помнят летописи, как выкупил из плена Лука Строганов ни много ни мало, а самого правителя Руси, московского великого князя Василия Васильевича по прозванию Темный, что приходится прадедом царю Ивану Грозному. Знать, не забывал сей услуги роду своему и сам государь Иван Васильевич: многие льготы давал внуку избавителя отцова и сыновьям Иоаникия – Семену, Григорию и Якову, а в 1558 году пожаловал Строгановых новыми пустыми землями на Каме.

Бил тогда челом царю Григорий Строганов, лежат-де по обе стороны Камы ниже Перми Великой места пустые, леса черные, речки и озера дикие, и всего пустого места здесь сто сорок шесть верст. Пашни там никем не паханы, дворы не ставлены, и хочет он, торговый человек Строганов, на этом месте поставить городок, пушками и пищалями его снабдить для бережения от ногайских и иных орд. По речкам до самых вершин лес рубить, пашню пахать, дворы ставить, людей кликать нетяглых, рассолу в земле искать, варницы ставить и соль варить.

Не сразу царь соизволение свое дал на челобитие Строганове – не будет ли утеснения местным каким жителям, пермичам, вогулам либо осяткам, какие царской воле не перечат и царю дань платят. Царевы дьяки долго расспрашивали пермича Кодаула с Камы, приехавшего с данью в Москву, и сказал слугам царским Кодаул, что места эти камские испокон веку пустые лежат, и доходу с них нет никому никакого, и угодий пермяцких там нет никаких.

И отдал тогда царь купцам Строгановым эти земли во владение и еще 2332 двора крестьян усольских, обвинских и косвенских, велел соль варить, земли заселять людьми нетяглыми и неписаными, в городках пушки, пищали, пушкарей и пищальников иметь, вокруг городков стены сажены по десять ладить, а в неприступную сторону для низа камнем класти...

Кроме того, по грамоте жалованные вотчины освобождались на двадцать лет от всякой дани, от ямских и селитряных денег, от посошной службы и от всяких других податей, также и от оброка с соли и рыбных ловель.

Купцы, посещающие строгановские городки, имели право торговать в них без пошлины. Люди строгановские, что водворялись на новых поселениях, освобождались от всякого суда царских наместников-воевод, «а ведает и судит Григорий своих слобожан сам во всем»...

2

Городок **Конкор** – первое родовое гнездо Строгановых на Каме – был основан в год получения земель по грамоте. Он стоял совсем под боком у царского города-посада Соль-Камская, что на реке Усолке, – всего в каких-нибудь тридцати верстах, вымеренных, правда, на глаз. Аника Федорович давно углядел здесь соляные ключи на правом берегу реки среди хилых лесов, сживаемых со свету солью в земле. Здесь поставил он свой **Конкор**, а года через четыре основал второй камский городок-крепость – **Кергедан**, при урочище Орел по течению ниже Конкора.

С каждым годом городки обрастали жилыми выселками и обзаводились новыми и новыми соляными варницами по берегу.

Речка Пыскорка, неся Каме свою водяную дань, огигает живописную гору с крутыми склонами, поросшими соснами. На вершине горы кудрявятся березовые и липовые рощицы.

Здесь, на горе, и стоит Конкор, и место для него выбрано по грамоте «осторожливое».

Бревенчатые стены, высотой в десяток сажен, опоясали гору с трех сторон, а с четвертой – глубокий ров, истыканный кольями, служит препятствием любому врагу, кто задумает взять городок приступом.

Внизу, у подошвы горы, за тыном из трехсаженных бревен, поставленных стоймя, разместились посадки людей работных, пашенных и военных, а рядом – торжища, лавки, съезжие избы и поставы варниц.

Из настенных башен хорошо видна река и все поселение, бесконечные просторы закамской стороны. Из прорубов в стенах торчат дула шести пушек и восьми пищалей.

На пыскорском склоне, за такими же высокими стенами, у самой маковки горы, раскинулся основанный Аникой Строгановым Преображенский монастырь с храмом, покоем игумена Питирима и келиями братии. С его стен видна болотистая пойма речки Пыскорки и синеватые дали усольских лесов.

* * *

С весны 1566 года, едва Кама пронесла свои льды и разлилась, хозяева занялись по настоянию Семена Строганова переустройством и креплением городков.

Сама местность в Конкоре была лучше приспособлена для обороны, потому главное внимание было обращено на укрепление крепости Кергедана и орловского урочища.

Кергедан перестраивали почти наново и денег не жалели. Выстроили город на северный лад – с посадом и детинцем. Здесь, в самом сердце города, поставили на широкую ногу палаты хозяина и трех сыновей. Стройкой ведали вологодские и муромские плотники – мастера первой руки, а палаты рубились по планам московского строителя Агтея Рукавишникова, украсителя Иоанновой столицы...

Плыл по Каме лес для стройки, плот за плотом. Шли они с Колвы, Вишеры, Усолки и Яйвы. Пока велась эта стройка, вся река была в плотях, и иной раз у самого города человек мог перейти по ним с берега на берег.

Строгановы строились по-царски, а из Москвы слали им всякое добро: утварь домашнюю, ковры, колокола, пушки и порох с ядрами.

Всего лишь восемь лет прошло, как утвердились Строгановы на Каме по царской грамоте, а дикие пустынные места менялись неузнаваемо. Не торопясь шла сюда крестьянская, работная Русь, чтобы своими глазами взглянуть, какие такие из себя Строгановы, что у них за городки и можно ли там наладить жизнь повольнее да посытнее, чем на родине. Приходили, смотрели, нанимались на соль и в ратные дружины, стеречь хозяйское добро и богатство.

Жизнь городков набирала силу, добрела, как квашня на опаре, но, конечно, складывалась для всех по-разному, кто ел сытно, кто с хлеба на квас перебивался. Но где найти лучшую жизнь простому народу? На Руси она не доходчивее, а прижиму больше; бояре здесь редки – только воеводы. А если и есть еще бояре, то они беглые, оседают здесь по воле Строгановых, оттого сила их престолюдину не больно страшна.

Пот с рабочего люда у Строгановых бежит, как и по всей Руси; хозяева, хотя и не бояре, строги, а подручные хозяйские, вроде Досифея-крестовика, никакой вины не спускают, кулаками спины обминают, а вдругорядь и плетью согреют. Но одно в этой жизни было до радости хорошо простому народу: кругом ширь лесная и камская, такая вольная, что едва глянешь вокруг, любое горе забывается и хочет душа песню петь; напев же для нее слагается громкий, вольный и радостный.

Петь хотелось людям про звезды, что ярки в ночи. Петь про ветер, что шатает до скрипа могучие сосны. Петь про Каму-реку, про ту новую деревянную Русь, что по строгановскому выклику пришла на камские берега добывать богатства земные на пользу всей Великой Руси.

3

Под утро гроза началась. Дождь водопадами низвергался из тяжелых туч, да еще дул при этом сильный ветер. Вода с горы сбегала в Каму пенистыми потоками.

Воробьиными ночами зовут на Руси такие грозовые ночи, потому что вспышки ослепительных молний и громовые удары так часты, что у воробьев и других мелких птиц не выдерживают сердца, и поутру мертвые птички валяются на земле.

Тревожная, беспокойная ночь. В стойлах волнуются кони, протяжно мычат коровы и плаксиво блеют овцы. Молчат только сторожевые псы, загнанные грозой в свои конуры...

Изба Иоаникия Федоровича Строганова в Конкоре стояла отдельно от всех других в окружении двенадцати кедров, потому и любил хозяин называть свою хоромину апостольской.

Сруб этой низкой избы наполовину врыт в землю. Чтобы открыть тяжелую дверь, окованную железом, надо опуститься по шести ступенькам крыльца. Гость попадал в темные сени, а из них уже вторая дверь, украшенная узорами из меди, вела в огромную хозяйскую горницу.

Пол в ней сплошь покрыт коврами и медвежьими шкурами, нога нигде не ступит на голую половицу. Стены в избе чисто тесаны под скобу, оставлены круглыми, а цветом они иссиня-серые, оттого что сосновые бревна с истоков Вишеры.

Заставлена изба дубовыми сундуками, окованными железом. Стоят они горками один на другом. Широкая русская печь изукрашена ценинной хитростью – цветными изразцами ростовской либо ярославской выделки. Много пузатых книжных шкафов иноземной работы с затейливой инкрустацией перламутром и слоновой костью. Есть шкафы вышиной до потолка, поделкой поглубже, зато надежнее по крепости. На стенах – длинные полки, прогнувшиеся под тяжестью всякого диковинного добра, собранного Иоаникием Строгановым по всему краю: что приглянулось, то и в избу! Людям книжным пригодилось бы все это богатство, чтобы постичь далекое прошлое Перми Великой, да и сам Иоаникий, человек неученый, но любознательный, строил на сей счет кое-какие догадки, когда брал с полки то деревянный ковш, то резанную из кости фигурку сохатого, то слиток металла, то соляной кристалл, а то и грубое каменное изделие первобытной человеческой руки. Только за недосугом, за делами торговыми, забывал он свои домыслы, и опять покрывались паутиной собранные на полках диковинки. Но помнил их хозяин отлично, любую! И уж коли тронет кто, переложит не приметно или, не дай бог, унесет, – беды не оберешься, пока все опять на старом месте не будет!

Задний угол в избе занимали чудские, вогульские, остяцкие, пермские, вотяцкие идола из камня и дерева, а над ними пылились одеяния жрецов и шаманов, их пояса, бубны, жезлы, амулеты. На сохатиних рогах подвешены на всех стенах доспехи воинские и охотничьи – саадаки, колчаны, луки, кольчуги, шлемы, бердыши, кистени, всевозможные клинки, сабли, кинжалы и ножи, татарские и русские. Есть и фитильные самопалы – лежат на полу, тяжелые, самые первые в здешних краях. Доставлена сюда недавно и кремневая пищаль, богато украшенная, и особая пулелейка и пороховница к ней, только пробовать еще не пытались – не любит старик Строганов порохового грома и огня. Пусть полежит до времени!

И тут же, в соседстве с братоубийственной снастью, – целый иконостас в красном углу. Иконы в серебряных и золоченых окладах, в четыре яруса, писаны своими, строгановскими, сольвычегодскими мастерами Савиными... Первый ряд – местные чудотворцы с угодником Николаем, Стефаном Пермским, Варлаамом Хутынским. Второй ряд – праздничный святиТЕЛЬСКИЙ чин. Третий ряд – деисусный: Иоанн Предтеча и Пресвятая богородица поклоняется Спасу нерукотворному, чей образ помещен посредине, рублевского письма. В четвертом же ярусе, как подобает по старине, пророки библейские в рост написанные.

Домовый иконостас Строганова побогаче, чем в соборных приделах! Перед иконостасом – три аналоя под расшитыми покровами. На среднем – Евангелие в серебряных досках, унизанных рубинами, на боковых – книга «Апостол» и четьи-минеи.

Окна в избе – длинные, узкие и высокие, как в новгородской Софии. С потолка, на крючьях, свешиваются связки бобровых и собольих шкурок, самых драгоценных.

За столом посреди избы могла бы сесть княжеская дружина разом. Дубовая столешница покоится на бревенчатых ножках – подставках, иначе провалилась бы гора серебряной посуды, что высится под самый потолок на столе – ковши, серебряные кубки, братины и винные чаши. Их тоже покрыва пыль – видно, хозяин давненько не пировал здесь с гостями.

Но в готовности стоят лавки под красным аксамитом, отороченным золотой бахромой. Да еще два высоких кресла замысловатой резной работы чуть отставлены поодаль: на одном тигровая шкура, подарок индийских купцов. Этим креслом никто, кроме хозяина, не пользуется.

Живет он в избе не один. На печи – место любимого рыжего кота по кличке Боярин. Под печью издавна угнездилась ручная лиса-огневка, Патрикеевна. В углу, у подножья вогульских идолов, без устали снуют ежи – охотники на мышей. Среди диковин, разложенных на полках и по верхам шкафов, кочуют ручные белки, а сколько их развелось и где порой скрываются, – хозяин и сам не ведает.

Сыновья же хозяйские не знают того, сколько скрыто отцом в домовых тайниках золота, драгоценностей, камней дорогих и где тайники заложены. Разумели про себя, что под полом, ибо случалось видеть, как отец ночами выносил из избы землю и рассыпал ее у комлей кедров.

На столе, у серебряной горы, светильник-восьмисвечник из сохатиного рога: в каждом отростке продолблена выемка и вставлена туда толстая восковая свеча...

Одна из свечей, как заведено уже лет шесть, ночью зажжена – хозяин не мог заснуть без света. Стал бояться темноты с тех пор, как метким выстрелом подбил стрелой горного орла. В ту же ночь увидел во сне, что убитый орел выклевал ему сердце, и стала его помучивать странная мысль, как дожить жизнь без сердца: ведь шестой год нет в груди настоящего стука, так, трепыханье какое-то...

Разбудила Иоаникия Строганова гроза с таким дождем, будто обрушилась на крышу лавина из мелких камешков.

Лежал старый хозяин Камы с открытыми глазами, следил, как в окнах возникают зеленые всполохи молний. Вслушивался в шумы грозы, в тишину избы. Когда стихал гром, внятно капала из рукомоя в бадью вода и, пофыркивая, перебежали ежи.

Он встал в холщовом исподнем, подошел босой к столу и от огонька горевшей свечи запалил еще три. Стало посветлее.

На печи встрепнулся кот Боярин, а у самой двери, в закутке за шкафом, зашевелилась еще одна обитательница избы, самая сиротливая и запуганная – крестьянская девочка Анютка. Иоаникий взял ее в услужение недавно – мужским слугам он не доверял, взрослые женщины его раздражали, а маленькую Анютку он и за человека-то не считал: ее присутствие тяготило его не больше, чем возня белок на полках.

Услышав шорох в Анюткином закутке, хозяин заглянул за шкаф. Разбуженная ударом грома, Анютка увидела вдруг перед собой хозяина и тихонько ахнула. Тотчас приподнялась, зашептала что-то, но в шуме дождя старик ничего не разобрал.

– Напугал тебя, кажись?

– Испужалась со сна... Неужто занемогли? Может, квасу подать?

– Спи. Гроза на воле. Она и меня пробудила. Ночь еще. Экая ты тревожная на сон! Другую дубьем не растолкаешь, а ты, почитай, от погляда пробудилась. Далеко еще до утра. Спи!

Строганов вернулся к постели, стал обуваться, да так и замер, любуясь долгими вспышками ослепительных молний. Потом в парчовом халате на собольем меху стал шагать по избе. Заметил, что в большой лампаде огонек мигает, снял с фитилька нагар. Раскрыл Евангелие,

но вместо чтения преклонил колени на подушке перед аналоем, стал класть поклоны; подниматься помогал себе посохом. Рукоять этого посоха в золоте и крупных камнях – одарил им Иоаникия Московский и вся Русь царь Иван Васильевич, когда на орловском урочище встал над Камой городок-крепость Кергедан.

Любил Строганов игру лампад и свечей в гранях драгоценных камней на иконах, посохе, кубках. Оживали камни в этом свете, будто и не камни они, а капельки жаркой крови – того гляди скатятся на ковер, пропитают мягкую ткань, прожгут ее...

В свете лампад строже, краше становится и само старческое лицо. Иоаникий Строганов еще при жизни стал легендарен. Кто не слышал о нем в крае Перми Великой да и по всей Московской Руси?

Ложатся отблески грозových вспышек на лицо гостя купеческого с берегов Вычегды, унаследовавшего в молодости дедовские варницы в Сольвычегодске и по торговым, пушным делам подавшего в край камский, чтобы через годы прослыть в людской молве Аникой Камским.

Тридцать пять лет назад прибыл он в Чердынь поглядеть на тамошний торг мягкой рухлядью. Раз навсегда опалилось его сознание всем тем, что увидел тут, и не позволила ему купеческая сметка покинуть места, где затраченная копейка приносила рубль дохода.

Все оставил Строганов в сольвычегодском родительском доме, даже родную жену. Вначале навещал ее, одаривал обновками и мехами, потом совсем запустил родной дом, не навещался к жене и перед ее смертью. Сыновей и тех сначала к себе не звал. Семена раньше всех кликнул. И до того Кама околдовала Иоаникия, что даже годы жизни своей стал считать лишь с того, как впервые приехал в Чердынь. Поведя такой счет годам, долго обманывал себя сам, но старость свою под конец обмануть не смог.

Седьмой десяток доживал Иоаникий, и тридцать пять из них погулял он в царстве камских лесов.

Торговал с лесными народцами грабительски, совсем бесчестно. Прибыль брал сам-сто. Покупал драгоценные меха за пустые безделушки. Скоро и такая торговля показалась ему незначительной, начал посылать Семена за хребет, в Сибирское царство. Тот привозил пушницу еще лучше, брал ее еще дешевле. Иоаникий сам отвозил товар в Москву и ссыпал в закрома золото, затратив медяки. День за днем, год за годом богател так, что сам не знал, как вести счет деньгам. Помня клятву, данную деду, не отходить от соли, отыскал ее с Семеном и в камском крае. Исполдволь, правдами и неправдами, добром и силой, кулаком и подкупом прибрал ее к рукам всю от прежних мелких хозяев. Слава о солеваре Строганове вновь пошла по всем дорогам Руси, докатилась до Кремля и до царских ушей. Приводила она купца Иоаникия в царские палаты, перед очи самого государя.

Расспросил Иван Васильевич Строганова о камском крае, повелел ему крепко стоять в нем, за всем приглядывать и хозяйствовать именем царя, велел быть там глазом царя и перед ним единым отвечать за все вольные и невольные оплошки.

Недаром любил Иоаникий рассказывать про свою встречу с царем перед всем государевым двором. Царь, указывая перстом, сурово сказал:

– Глядите, какой из себя купец Строганов. Запоминайте, как он единую Русь по своему почину осередь дикости и опасностей утверждает. Не вам чета сей купец, бояре!

Для всех теперь на Каме и на Руси хозяином был Иоаникий Строганов с сыновьями. Но только сам он да еще сын Семен держат в памяти, как шагали к этому богатству, какие пути-дорожки к нему привели...

Дорогу в глушь камских лесов прокладывали для Строгановых люди с Руси часто ценою собственных жизней. Те, кому удавалось уцелеть и выжить, получали гроши и копейки, забывая хозяевам рубли. Людей темных, головушки забубенные, Строгановы принимали охотнее, нежели людей со светлыми помыслами. Кому по Руси путь был заказан, мог разгуляться в строгановских вотчинах, умирив непокорных, отнимая на дорогах чужое добро, порой даже из-

под рук у царских наместников – воевод. Заводили Строгановы в крае свою опричнину, только в отличие от царской создавали ее от народа тайно, чтобы не распугать вовсе тот вольный люд, недовольный порядками на Руси, что сам бежал сюда осваивать дикие места, вроде мастера-костромича – судостроителя Иванка. Но здешние тайные опричники, такие, как Досифей-крестовик или иные верные люди, шли по строгановскому слову в огонь и в воду, творили суд и расправу, ценили кровь не дороже камской воды. Поначалу Иоаникий сам ходил во главе своих людей, когда посылал их на опасные дела. Потом потерялась бывшая сила в руках, отца сменил Семен там, где требовались хватка дерзкая и навык суровый.

И все же просачивалось кое-что в народ, как ни тайно действовал Семен с приближенными. Через воевод, заезжих купцов, завистливых соглядатаев узнавали в Москве в государственном дворе, что, мол, далеко переступает Строганов царские законы. Приходилось покупать молчание, а оно – товар дорогой и ненадежный! Горстями ссыпалось в Москве строгановское золото в жадно протянутые ладони.

Порой алчность завистников казалась ненасытной. Шепоток: «Давай и нам толику краденого!» – становился требовательным и громким голосом. Притихли эти голоса лишь тогда, когда царь сделал Строгановых хозяевами по всей Каме, и московские завистники смекнули, что строгановская хватка царю по душе. Однако Иоаникий твердо держал в памяти, что царский нрав переменчив, капля клеветы быстро точит камень веры и даже малый тайный враг всегда опасен. И если случалось такому тайному врагу взять на себя поручение в строгановские земли или по соседству, редко удавалось ему воротиться подобру-поздорову: дескать, даже царские воеводы не в силах унять лиходеев в крае, не иначе как их руками и пострадал посланец!

Ратные люди Строгановых, охранявшие край Каменного пояса, не стоили казне царской ни полушки, зато и хозяева не любили тех, кто больно ретиво дознавался, откуда брались деньги на содержание сих ратных людей! Какая судьба ждала ретивых дознавателей – знали камские леса и... люди Иоаникия Строганова!

Так вот и жил этот край по двум законам – царским и строгановским. И если дело доходило до открытого спора между царскими воеводами и строгановскими подручными – отступали первыми обычно служилые люди царя. Победителем выходил Строганов.

Но с того года, когда на берегу Камы встали стены Кергедана, Иоаникий, еще могучий телом и не любивший прежде сидеть на месте, неожиданно для сыновей затворился в своей конкорской избе. Причин к тому было несколько: вдруг давший себя знать недуг старости, страх за накопленное добро – страх, ведомый всем стареющим стяжателям, – боязнь сыновей и раскаяние перед богом.

Тревога нарастала. Он часами сидел неподвижно, раздумывая о своей былой неумемной жизненной силе. Он начинал понимать, как страшно грешнику ожидать прихода смерти. Он уже знал, что многие люди ждут часа, когда явится эта гостья за Иоаникием Строгановым, в их числе даже родные сыновья, а главное, ждет за неведомой дверью того мира злая расплата, расчет за содеянное в этом мире.

Тягостны его раздумья о сыновьях, таких разных по уму и характеру. Григорий и Яков – настоящие купцы. Цель и смысл их существования – сундук с добром, деньги. Семен всегда казался каким-то исключением: он не был жаден к деньгам, видел в них лишь средство, а не цель. Старик уважал Семена больше других сыновей – может быть, и о нем сохранится след в летописях Руси! Отец вначале не одобрял стремления Семена к новым землям и понял его замыслы только тогда, когда царь одарил Строгановых первой грамотой. С тех пор старик уразумел, что настоящая слава Строгановых добыта не им, не Григорием, не Яковым, а именно Семеном, хотя он и остался в тени, когда пришлось расценивать на золото царские милости и делить честь.

Якова и Григория старик боялся из-за их жадности. Он все время старался посеять между братьями вражду и неприязнь, хитро действуя через жен. Это всегда удавалось и позволяло оттягивать раздел богатства, несмотря на настойчивые требования сыновей.

Но хуже всего был страх перед богом. Жизнь в камском крае, волчьи законы борьбы заставили его надолго позабыть о страхе перед богом, но с приходом старости этот страх вернулся вновь и остался при нем в четырех стенах избы в Конкоре, и усиливался в часы полного одиночества, когда боялся он всякого шороха.

Истовой, крепкой веры в бога у Иоаникия никогда не было. Он крестился, но делал это больше от суеверия. И теперь его вера в бога, рожденная страхом, становилась болезненным иступлением, охватившим его с полной силой после встречи с игуменом Питиримом. Он сразу подпал под его власть, слушая поучения о чаше раскаяния. Ради Питирима выстроил он монастырь на горе, укрепил его, как крепость, с надеждой задобрить бога и получить его помощь еще здесь, в этом мире, в виде продления жизни. Питирим же при всякой встрече шептал об одном и том же: о подвижнической жертвенности угодников, намекал насчет завещания богу всего богатства. Иоаникий часами простаивал на молитве и не находил в ней утешения. Пронизносил заученные слова, а мысли были далеки от бога, всегда о земном и суетном.

Время шло.

Сыновья Григорий и Яков, погрязшие в делах семейных и торговых, не видели душевных терзаний престарелого отца, вечно требовали раздела, запугивали отца Семеном: дескать, Семен намерен вот-вот отобрать все богатство себе одному. Старик не знал, что делать. Ведь сам Семен никогда не говорил с ним о деньгах, жил иной заботой, старался увлечь отца широкими замыслами об утверждении Руси на новых землях.

Порой Иоаникий начинал подозревать, что Семен просто усыплял его подозрительность, тихонько подбираясь к нажитому отцом. Уж не для отвода ли глаз он усмирлял братьев, когда те слишком явно давали отцу чувствовать их права и противились его воле, воле живого родителя?..

Гроза понемногу затихала.

Небесный рокот катился реже. Молнии уже не так ярко освещали избу. Иоаникий повторял заученные молитвы и, как всегда, не слишком верил, что молитва его угодна богу. Смотрел на лики икон, не видел в них ни сострадания, ни участия...

4

В Конкоре наступил вечер.

Лиловые с синими потеками небеса отяжелели от звезд.

Ветер с Камы шевелит за монастырскими стенами листву берез и осин.

В келье игумена Питирима единственное украшение – книги. Тяжелые, с медными застежками и кожаными переплетами. Некоторые раскрыты на столе – на страницах видны следы пальцев и пятна воска.

От лампад на темных иконах – пятна света. У стены на полу – гроб с коротким березовым чурбашком в изголовье. Крышка от гроба прислонена к стене.

Высокий, сгорбленный игумен Питирим стоял у аналая. Худое лицо аскета до самых глаз заросло длинной рыжеватой бородой. Клобук надвинут до пушистых бровей.

Семен Строганов говорил игумену приглушенно и жестко:

– Что-то, отец Питирим, замечаю: перевелись праведники среди наших пастырей духовных. После Стефана Великопермского ни одного подвижника в здешних землях не обреталось. Как о сем судишь?

Игумен покачал головой:

– Не возьму в толк, куда речь свою клонишь, Семен Иоаникиевич. Или хулить облыжно меня собираешься? Кто-либо, верно, поклеп возвел?

– Речь клоню к тому, что ты, как слышу, родителя нашего гневом божьим запугиваешь, будто дите малое. Поучаешь его всю власть над богатством тебе передать. Святым себя выставляешь и его к себе в монахи зовешь. Того гляди, поверит в твою святость Аника Строганов.

– Еще что выскажешь?

Игумен медленно перешел к столу, зажег от лампы свечу. Семен спокойно встретил его долгий, колющий взгляд.

– Постой, не торопи. Все скажу, что потребно мне. Кое-что в моем сказе тебе не по сердцу придется, но и подумать о многом заставит. С монахами беседовать редко случается: скуп я на слова для черноризцев. Но уж ежели начал, то не обессудь, доскажу. Неласково глядишь на меня, инок смиренный! Только, сколь ни гляди, глаз своих перед тобой долу не опущу. Жесткие у тебя глаза, но сие для меня не велика невидаль! Случалось встречать глаза того жестче, самой смерти доводилось в очи засматриваться. Как видишь, и перед той не оплошал!

– Напраслину плетешь.

– Неужели отопрешься, что звал родителя нашего в монашество?

– А вот и не отопрусь. Пошто не спросил, почему зову его в монастырь?

– Потому, что сам эту причину знаю.

– Знаешь, стало быть, что вконец сыновья замучили своего отца пужанием: дескать, намерены они отнять у него золото и все богатство строгановское? Невмоготу мне стало глядеть, как родитель ваш сынов своих, что голодных волков, боится. Во спасение от вас зову раба Иоаникия в монашество, под охрану господней десницы, убережь хочу его от вашей греховной суеты. Ведь помрет родитель – вы могилу ему вырыть позабудете, недосуг вам будет! Станете, кровеня друг дружку, богатства делить, потом жить зачнете шибче царского. Жен да полюбовниц самоцветами и жемчугами засыплете, а господу богу медяка на свечку пожалеете.

Постепенно повышая голос, игумен гневно выкрикивал:

– Прибык ты, Семене, не отца единого, но всех добрых людей на Каме пужать. Воеводы царские и те перед тобой помалкивают. Один я тебя не боюсь. Молчанием своим тебя не возрадую. Встану вот сейчас перед иконами и прокляну тебя навек. Скажешь, что проклятия моего не боишься? Скажешь, а?

От приступа гнева все тело игумена сотрясилось. Умолкнув, он опустился в кресло, склонил голову и схватился за подлокотники. От тяжелого дыхания грудь его подергивалась. Он зашептал, будто творил про себя молитву:

– Спаси, господи, от оборотня! Упаси, господи, от Семена, лютого беса в человеческом обличий.

Постепенно успокоившись, монах приоткрыл один немигающий глаз, устремил его на Строганова.

– Стоишь? Станешь сейчас помилования у меня вымаливать?

– Стою. Жду, когда проклинать начнешь. Охота послушать, какие слова скажешь.

Игумен прикрыл глаз. Из-под плотно сжатых век потекли слезы.

– Прости меня, Семен Аникыч. Прости, что грешного гнева своего не одолел, пастырь недостойный!

Игумен вдруг торопливо сполз с кресла, упал на колени и склонился перед гостем в земном поклоне, визгливо выкрикивая невнятные слова. Строганов не пошевелился, сказал спокойно и холодно:

– Встань, отче Питирим! Не обучен ни в проклятиях, ни в раскаянии правды признавать. После слов Строганова игумен быстро поднялся на ноги, спросил шепотом:

– В бога, стало быть, не веруешь, ежели силы его проклятия не признаешь?

– Тебе про то лучше известно. Надо тебе не игуменом в монастыре быть, а кликушей на паперти стоять да страшными пророчествами баб в пот вгонять. Садись в кресло крепче. К концу моя речь с тобой подходит.

– Стоя дослушаю. Хозяин я в своей келье.

– Сказал, садись!

От неожиданного окрика игумен попятился и сел в кресло. Дзерь кельи чуть скрипнула и приоткрылась. Семен неслышно сделал несколько шагов к двери, с силой толкнул ее ногой. Она распахнулась, тяжелая створа сбила кого-то с ног. Игумен закричал не своим голосом:

– Убил инок, душегуб! За что порешил, окаянный?

– Не тревожься. Доносчики и слухачи живучие. Отлежится.

– Пойду погляжу, дышит ли инок мой! – И монах приподнялся в кресле.

– Сиди-ка ты, отче, на месте, коли я велел.

Строганов ударил кулаком по столу с такой силой, что подсвечник подпрыгнул и свеча погасла. Игумен часто закрестился. Семен вышел, хорошенько встряхнул монаха, лежавшего за дверью. Охая и причитая, тот пустился наутек. Игумена же вновь затрясло от гнева:

– Все равно не боюсь тебя в своей обители. Братию сейчас скликать начну! Связать тебя велю да за ограду, как падаль, кинуть, чтобы ты по кособору в Пыскорку мертвяком укатился.

– Врешь! Братию кликнуть побоишься. Рта разинуть не посмеешь, конец моей речи дослушавши. Вот ты какой? За ограду, как падаль, меня выкинуть хочешь? Неплохо надумал. Только на деле все сейчас по-другому для тебя обернется. Сам вскорости из обители ноги унесешь. И не по своей воле.

Игумен насторожился.

– Да будет тебе ведомо, что от митрополита Московского и всея Руси гонец мой воротился. Обитель нашу митрополит принял под охрану свою и, по моей челобитной, определил в нее нового игумена. Тебе же повелел уйти из нее в те места, из коих в ней объявился.

– Не смей такое молвить!

– Ты для меня здесь не игумен. Строгановым господь милосердный нужен. Не силен ты быть пастырем стада христово, самого тебя надо пасти крепкой рукой, на истинный путь направляя... Велю тебе до приезда нового игумена добром из обители уйти.

– Не волен сие приказывать!

– Увидишь! Силы у меня на все хватят. Боярина беглого из Москвы на нашей земле остановили. Сказал мне, что знаком ты ему.

– Может, и знаком. Многих бояр знаю. Они богу угодны, потому и вхож я был в иные хоромы. Для бога все одинаковы. Слышишь? Строгановым даже слуги божьи поперек горла встали, посему ты на них лютым псом кинуться готов.

– Та тропа, по которой ты, слуга божий, в Москве к своим друзьям ходил, господу неведома. Может, сам мне скажешь, кто тебе велел надеть рясу и под личиной инок завладеть строгановскими богатствами? Молчишь? Так слушай: на Москве твой хозяин – опричник Басманов Федор, правая рука Малюты Скуратова. Что? Онемел? Все о тебе дознано. Скажешь, что и это поклеп? Пошто молчишь?

– Не убивай, христа ради!

– Зря просишь. Об такую грязь рук своих не замараю. Живи, пока дружок потерпит!

– Когда велишь уйти?

– Не торопись. Покедова здесь будь. Но слова единого никому молвить не смей об этой беседе. Смердов простых ради, для коих сан твой – святыня. Монах, коего дверью оглушил, кто такой?

– Ключарь.

– Пришли его поутру ко мне в городок. О чем разговор вели – до гроба помни. Когда время придет обитель покинуть, пошлю за тобой своего человека. Только уйдешь отсюда не на волю. При Строгановых останешься.

Игумен всплеснул руками:

– Помилуй грешного!

– Запричитал? Разом всю смелость порастерял? Жив останешься. Только заживешь по-другому. В новом нашем остроге станешь молиться о спасении ратных людей, а если придет час от ворогов острог оборонить, грудь свою под вражьи стрелы без кольчуги подставишь, на божье провидение надеясь.

– Помилуй, Семен Аникьич!

Но Строганов быстро удалился из кельи, захлопнув за собой дверь. Сошел с крыльца игуменских покоев и сразу нырнул в ночную темень.

Спускался тропинкой с вершины холма в городок, прислушивался к беспокойному шелесту листвы.

5

Лучи заката освещали вершины сосен «апостольской» рощи. С монастырской звонницы густая медь большого колокола звала прихожан ко всенощной. Семен Строганов вошел в отцовскую избу. Возле стола увидел Анютку. По столу, размахивая хвостами, деловито сновали белки. Анютка забралась в кресло, стала на колени и по-детски увлеклась игрой с жемчужинами. Она горстями черпала их из открытого ларца и осторожно пересыпала с ладошки на ладошку. Она не слышала, как вошел Семен, как вплотную приблизился к столу.

– Забавляешься, проказница?

Анютка вскрикнула, жемчужины рассыпались по столу. Белки попрыгали со стола, разбежались по шкафам и полкам.

– Чего кричишь? Только векш своих распугала. Собирай-ка скорее жемчужинки, пока не затерялись.

Анютка, с испугом косясь на Семена, проворно собрала жемчужины, ссыпала их в ларец и прикрыла крышкой.

Семен погладил девочку.

– Все до единой собрала? Ах ты, синеглазая, околдовал тебя жемчуг: не слыхала, как к тебе подошел.

– Винюсь. От голоса твоего похолодела вся.

– Играешь, значит, отцовскими жемчугами? Слезы людские в ладошках пересыпаешь? Глянется тебе, как они блеском переливаются?

– Какие же это слезы?

– Жемчуг, Анютка, это горючие слезы человечьи. Стужа морского дна их заледенила.

– Неужто правду сказываешь? Беда какая! Батюшка Аника дозволение дал ими любоваться да себе на нитку отобрать, какие понравятся. В приданое пожелал мне ту нитку отдать.

– Вот как? Неужли заневеститься успела?

Анютка сконфуженно прикрыла лицо руками.

– Пошто так молвил? Може, потом когда.

– Смотри-ка, и верно Анютка наша скоро девушкой будет! Значит, суженого начинай высматривать, да такого, чтобы душу тебе не опоганил.

– По-непонятному речь ведешь. Разве вольна крестьянская девушка себе суженого выбирать? За кого велят, за того и пойду. Сироткой расту.

– За то, что моего батюшку ласковой заботой охраняешь, сама себе и парня в мужья выберешь. Даю тебе на том мое слово. Никто тебя насильно, за нелюбого, не приневолит. Родичи

твои верно служили Строгановым, сам батюшка заботу о твоей судьбе в руки взял. Еще девушкой не стала, а от речей о женихе, как маков цвет горишь. Глазищи-то у тебя какие лукавые! От их погляда парни на розном месте спотыкаться станут... Живи и на все гляди без страха, расти гордой и смекалистой. Любовью душу согреешь, но берегись двух бед: рано крылышки обжечь, либо суженого прозевать и бобылкой остаться. А теперь сказывай, куда ты батюшку без присмотра из избы отпустила?

– В монастырь пошел. Служка от отца игумена прибегал. Зазвал хозяина к себе – занемог игумен неожиданно.

Семен не смог сдержать улыбки.

– Право слово, к игумену пошел.

– С чего это он занемог неожиданно?

– Кто его знает! Ведь беда, какой гневливый. Во всем городке на людей страх нагоняет. На что уж наш кот Боярин животиная спесивая, никого не боится, и то, как Питирим в избу, так сразу под печь, к лисе убегает. Может, от такой лютости и занемог, кровь закипела?

– Ты его тоже боишься?

– А то как же? Сколько раз на себе его длань испытала, подзатыльники да заушины не счесть. Руки у него длинные да холодные, что лед. Положит на плечо – холодом через холстину остудит.

– Частенько ли игумен батюшку навещает?

– Редкий день не навестит, а то и ночью. Начнет это о людских грехах, да так страшно-то, потом на колени перед иконами падет и велит батюшке твоему в ряд с ним встать и молиться.

– О чем еще речи с батюшкой ведет?

– Того не ведано. Ежели придет днем, велит мне из избы на крыльцо уходить. Только ночью слыхала их разговор одиново. Спала я. Вдруг – крик в избе. Пробудилась я, а сама прикинулась спящей и слушаю. Кричит игумен, ногами топает на батюшку Анику. Все, говорит, свое богатство должен ты богу отдать. Проклятое, говорит, оно. Только бог может через меня очистить его от всякого земного греха. Страшным судом господним пужал, до того истеричался, что совсем осип.

– А батюшка что?

– Молчит. Слово молвить боится. Под конец разговора стал успокаивать отца Питирима, сулил подумать над его праведными словами. Беда, как страшна та ночь была.

– Как думаешь, правду игумен про страшный суд сказывал?

– Мне разве понять? Стало быть, правду, ежели сам батюшка Аника сказу его поверил. Батюшка твой все знает, он умнее всех на Каме.

– Стало быть, отцу Питириму батюшка верит?

– Обязательно верит. Всякий раз ему говорит: «Слово твое, отче, для меня – божественная истина».

Семен осмотрел избу – никаких перемен, все, как заведено отцом спервоначала. С печи соскочил кот, замурлыкал и стал ласкаться к Семену. Анютка засмеялась.

– Ишь как распелся! Разом свою боярскую спесь оставил! И с чего такой ласковый стал? Он, чай, кроме хозяина, ни к кому близко не подходит.

Не слушая Анютку, Семен продолжал внимательный осмотр отцовской избы. Анютка притихла и не сводила с него глаз. Наконец Семен вспомнил о своей собеседнице.

– Чего уставилась?

– Узнать хотела, о чем сейчас дума твоя.

– Ишь ты. Скажи на милость! Много знать будешь – скоро состаришься, синеглазая! Так, слушай теперь мою думу про тебя: заневестишься – немедленно мне о том скажи. Сам тебя приданным одарю. Жемчугов даже от батюшки моего в приданое не бери. Слышала? Время при-

дет – и без них вдоволь наплачешься. За батюшкой заботливо и ласково приглядывай, чтобы никакие печали его стариковские дни не тревожили и чтобы...

Из сеней донесся звук тяжелых шагов.

– Идет, кажись?

Семен обернулся к двери. Иоаникий Строганов увидел сына.

– Сеня! Родимый! Вот радость великая.

Семен низко поклонился отцу, они обнялись и трижды расцеловались.

– Спасибо, что навестил. А то слышу – уже прибыл Семен Аникеевич в отчий Конкор и времени не найдет к отцу навеститься. С весны, чай, не видались. Садись вот тут на лавку. Анютка, ступай к подружкам, да только дотемна не засиживайся.

– Квасу какого подать? – спросила Анютка.

– Ступай. Без тебя управимся.

Когда девочка вышла, Иоаникий заговорил озабоченно:

– Сеня, горе меня настигло. Отец Питирим неладно занемог. Лихоманка трясет, заговаривается в бреду. Обитель кинуть собирается.

– Ему видней, батюшка.

– А как же я без него останусь? На старости меня все покинули, один Питирим душу мне от тягостных дум оберегает. Сделай милость, уговори его не покидать обитель.

– Не удерживайте, батюшка, Питирима от монашеского устремления. Святейший митрополит Московский Афанасий обитель нашу принял под свою десницу.

– Верно ли говоришь? Кто ему челом бил?

– Я, батюшка. Хотел вас утешить.

– Поверить боюсь, Сеня, такой радости великой. Под рукой святой церкви московской нам полегче станет. Владыка доле всех на Москве не признавал Строгановых хозяевами на Каме. Слава богу, довелось мне дожить до того часу, когда и он нам благословение свое даровал.

– Наша забота о монастыре Пыскорском теперь, батюшка, окончилась. Вместо Питирима из Москвы в обитель новый игумен явится.

– Ох, Сеня, страшно мне без Питирима остаться. Кто знает, какого игумена пришлют. На Москве в монашестве ноне праведность тоже ослабла. Питирима я знаю: праведник господен.

– На Косьву я его с собой возьму.

– Тогда ничего. Только слово дай беречь его.

– Его и без меня бог бережет.

– Верно говоришь. Он под десницей божией. Понять не могу, с чего это Питирим осерчал на меня. Только наемдни с ним беседовали о спасении души. Обещал подмогу во всех заботах. Сыновья мне в делах благочестия плохие помощники. Все вы о боге позабываете. А это нехорошо.

– Поутру, батюшка, в Кергедан собираюсь.

– Там подоле побудь. Вместо меня сам крепость отстроенную огляди. Гришка чужим умом живет, Катька за него думает. Она и против меня его подбивает. Главное, огляди, как хоромы воздвигают. Мысляю я, что после моей смерти вы все вместе в них жить станете. Себя не забывай! Чаю, чердынскую боярыню в Кергедан привезешь?

– Опять о ней речь заводишь?

– Забудь, Семен, боярыню Анну Орешникову. Приворожила тебя тайным наговором. Не ты ей нужен, а строгановские богатства. Женись на ком желаешь, обрадуй старика, только Анну Орешникову позабудь! Наведайся в Москву и погляди на невест. Любая красавица за тебя пойдет.

– Я, батюшка, не малое дитя, а потому волен глядеть на любую бабу.

– На любую и гляди. Только не на Анну.

– Пошто не взлюбил, даже не видал ни разу?

– В Чердыни опять с ней повидался?

– Повидался.

– Стало быть, в мужниной постели тебя на груди пригревала? Грехом тебя опаивала? Против моей воли поступить тебя научала? Чужая она жена. Пошто заповедь господню преступаешь, к чужой жене липнешь?

– А сам, батюшка, к чужим женам не прилипал?

– Ишь куда языком метнул! Престарелого родителя прежними грехами попрекать вздумал? Грешен! Каюсь! Потому и вся дума моя, как бы тебя на праведный путь с ложного наставить. Знаю, нельзя мужику в сем крае без зазнобы-любушки. Грех в нас родится здесь от дыхания земли да от лесной вольности. Могучесть земли здешней нашу кровь вспенивает. Ты и сам в плоти, Семен, могуч, весь в отца. Рано начал в бабах забаву искать! Позабудь Орешникову! Из упрямства за нее держишься, ты в бабах не душу ищешь, а все потому, что остудил себя одиночеством. Давно велю тебе семьей обзавестись... Братья твои выполнили мою волю, внуками порадовали, а ты?

– По осени Аннушку от мужа на Косьву с собой увезу. Будет тебе и от меня внук.

– Не посмеешь!

– Аль воевода на то запрет наложит?

– Отец не дозволит. Не посмеешь чужую взять, пока живой.

– Возьму, батюшка.

– Не допущу, Семен, тебя с боярыней на свою землю. Сам царь, сказывают, к воеводе Орешникову милостив. Пошто царский гнев на наш род навлекать?

– Царский гнев? Почему же тогда сам ты, батюшка, беглых бояр с Руси на своей земле прячешь и царского гнева не опасешься? Почему богатства беглых себе забираешь, вместо дани за укрытие?

– Беглых не я, Григорий грабит.

– Но ведь и он тоже Строганов, стало быть, и он царский гнев на наш род навлекает?

– Сколь раз велел ему не допускать беглых бояр на наши земли. Он и ухом не ведет.

– Сам ты, батюшка, грабленное себе брал, Григория делиться заставлял. В каждом углу избы этого добра полно. Сам, поди, давно запутался, что честно нажито, а что тобой с Григорием у беглых силой отнято.

– Семен!

– Кричать и я горазд, батюшка. На голос тоже неслабый уродился.

– Отрекись от тебя!

– Отрекайся. Дело это, батюшка, тебе не в диковинку, а в привычку. От жены своей, матери нашей, отрекся, потом сам же и каялся.

Иоаникий Строганов закрыл лицо руками, склонил голову, долго молчал. Потом заговорил тихо и скорбно:

– Вот о чем помянул! Сорвал с души старую болячку. Каюсь: ради богатства здешнего матушку твою в вычегодском доме кинул. До гробовой доски буду о сем печалиться. Ежели была б она здесь, не посметь сыновьям моим из-под моей воли в стороны разбегаться, старость мою распознавши. Яшка с Гришкой не первый год смутьянствуют. Не будь тебя, они давно бы меня ограбили. Теперь и ты смутьяном оборачиваешься. Троим легко старика скрутить. На свой лад, Семен, жить начинаешь?

– Всегда на свой лад жил, но из-под воли твоей не уходил. Зачем, батюшка, тревогой пустяшной себя ране времени со свету сживаешь?

– К чему клонишь? О чем про меня дознался?

– Ни о чем не дознавался. Гляжу на тебя и вижу, что тревога всего изглодала.

– Верно, Сеня, гложет она меня. Смерти боюсь. Стука сердца своего боле не слышу. Скажи отцу правду: хочешь моей смерти? Думаешь, поди, иной раз, чтобы я поскорей помер?

– Думаю, батюшка.

Иоаникий от такого признания испуганно перекрестился.

– Пошто же думаешь об этом?

– Потому, батюшка, что ты среди живых как неживой бродишь да тени своей пугаешься.

– Отцу смерти желаешь? Анике Камскому конца ждешь?

– Нешто теперь, батюшка, ты Аникой Камским остался? Кому от него слышать доводилось, будто он когда смерти пугался? Разве раньше ты боялся ее? Как меня жить обучал? Велел ходить, бегать, драться, пока не упаду замертво. Велел смелостью бесшабашной с себя мерку снимать. А теперь кем стал? Перед монахом, который страшным судом припугнет, готов на карачках ползти? Перед сыновьями трясешься, когда требуют богатство разделить? Не сам ли научил их быть жадными? Пред иконами на коленях ползаешь, над золотом дрожишь, будто на морозе стынешь? Срам, батюшка, эдаким Аникой Строгановым по берегам Камы бродить. Смерти боишься? Старости позволяешь спине в дугу сгибать? В сыновьях врагов раскапываешь? Доколе, батюшка, станешь кликушей рядиться? Один раз пореши: либо Аникой Камским живи, либо в монастырь под клобук спасайся да о грехах своих плачь, ежели они тебе плечи натирают.

Иоаникий привстал, выпрямился и смотрел на сына так, будто только что пробудился ото сна.

– Вот так вокруг себя и гляди. Прямее стой, батюшка, не бойся старческую дугу в спине разогнуть, небось не переломится. Кулаком по столу стукни, расшиби страх перед смертью. Коли вздумает она в неурочный час объявиться, об пол ее. Потому с таким батей, каким ты теперь по своей избе бродишь, зорно мне на большое дело идти.

– Что задумал-то, Семен?

– Слово дай, что перечить не станешь!

– Говори.

– Обещай, что рядом со мной пойдешь, ничего не жалея?

– Говори, Семен, а то силой из тебя сказ вытрясу.

– Вот так, батюшка, разомни об меня свои силы, тогда и сердце твое застучает, как молот по наковальне.

Иоаникий схватил сына за плечи.

– Сказывай, Семен, взаправду не осерди старика.

– Скажу, а то, пожалуй, кафтан мне не сберечь!

От внезапного приступа кашля Иоаникий упал на подушку своего кресла. Лицо его побагровело. Когда кашель стих, он пошел к печке, зачерпнул ковшиком воду из кадушки, выпил жадными глотками.

– По весне, батюшка, порешил следы Строгановых по берегам Чусовой положить. Решил по Чусовой зачинать дорогу на покорение Сибирского царства. В Сибирь Строгановы обязаны первыми хозяевами прийти.

– Одумайся, Семен! О чем молвишь? Как царь на это поглядит?

– Царя до поры спрашивать не стану. Скажу ему, когда встанем на Чусовой до самой ее вершины во весь наш рост.

– А кто из вас после наберется смелости сказать о захвате Чусовой? Небось на себя, Семен, станешь грамоту просить?

– Нет, пусть на Чусовую Яшка грамоту в руках зажмет. Себе возьму грамоту на все Сибирское царство.

– Погоди, Семен. От твоих слов разум у меня мутится. Чусовую в Русь хочешь обряжать? Золота у тебя для этого хватит?

- Неужели Аника Строганов обнищал?
- Свое богатство, пока жив, никому не отдам. Слышишь?
- Его у тебя никто не отнимет.
- Яснее говори. Чай, Гришка к горлу пристаёт, раздела требует на три части?

– Не будет этого! Богатство, тобою нажитое, должно быть единым при жизни твоей и после конца ее. Нельзя это богатство дробить, частями раздавать. Возле Гришки – Катерина с муромским купечеством. Оно свои виды имеет. Возле Яшки – Москва базарная, она любое богатство проглотит и памяти не оставит. Я твое золото не возьму. На Чусовой Русь поставлю без золота, людям золото только покажем, подманит им легковёрный народ с Руси. Подходит время, батюшка, когда Русь сама к Строгановым на службу набиваться станет. Русь от лютости опричников не знает, где голову преклонить. Царь Иван тоже не вечен. На его место новый царь сядет, а Русь тем временем под парусами Строгановых в Сибирское царство и поплывет. Ежели сумеем, славу рода нашего поддержим. Благослови сына Семена на большое дело.

- Неужели и вправду на богатство мое не посягнешь? Крестись на икону!

Семен перекрестился.

– Братья твои шептали, что обманом меня обойдешь, все золото отнимешь. А ты по правде-то, стало быть, на моей стороне?

- По правде, батюшка.

– Тогда, тебе поверив, всю тайну про богатства открою. В этой избе под полом оно у меня схоронено. Под кедрами тоже зарыто немало. Есть оно и под стенами крепости во многих местах. Бери, ежели понадобится. Ступай на Чусовую. Осилить реку один ступай. Меня здесь оставь. Ступай смело, как раньше со мной ходил. Смелость свою береги. Баб к ней не допускай. Ежели царя Ивана смелостью своей разгневаешь, и тогда не бойся: и от него откупимся. Ступай куда хочешь. Только меня в этой избе совсем не забывай! Сегодня ночью приходи. Про все расскажу. Все места укажу, где богатства схоронены. Гришку в Кергедане прижми. Вели ему все золото, от беглых отобранное, отдать, потому он многое от меня утаивает. Пора подошла. Память у меня слабнет. Забывать начинаю, где золото зарыто. Нонче поверил, что ты не против меня, что ты один моему богатству спаситель.

- Сохраню его, батюшка, потому что на нем слезы моей покойной матушки!

Глава шестая

1

Живописный холм Орлиного урочища поднимался над простором камского берега наискось против устья реки Яйвы.

Высоко на холме, под защитой двойных стен и глубоких рвов возник среди кедров и лиственниц главный строгановский оплот в крае – городок-крепость **Кергедан**, окруженный соляными промыслами.

Неведомо, почему пожелал Аника Строганов назвать городок этим вогульским, непонятным словом. Жители и работный люд соляных варниц величали его по-своему: **Орел** – городок, верно, в честь орла, убитого стрелой самого хозяина. Уцелела и та сосна, на которую когда-то опустился с добычей пернатый хищник, тотчас настигнутый метким выстрелом. Возле этой сосны, за палисадом, построены новые хоромы для хозяев города.

Кергедан с самого основания своего считался вотчиной сына Григория, правившего и городом, и промыслами по своей воле. Однако в семье, и в городе, и среди работного люда было известно, что живет Кергедан не столько по воле Григория, сколько супруги его, Катерины Алексеевны.

Начатая ранней весной перестройка городка и его укреплений подходила к концу. Неделю назад Катерина и Григорий заняли новые хоромы, убрав их с царским великолепием. Смежные хоромы, предназначенные для Семена Строганова, обставлены были не хуже.

2

Ранним августовским утром Каму укрывали густые туманы. Они переползли с реки к подножию холма и заволокли крепостные стены до самых башенных шатров.

На том берегу Камы, близ устья Яйвы, печально и звонко курлыкали лебеди.

Катерина Алексеевна Строганова проснулась на восходе. Одетая расторопными сенными девушками, хозяйка нынче успела уже обойти все работы на стройках городка и вернулась на крыльцо, чтобы отсюда прислушаться к лебединой перекличке. Тут застали ее первые солнечные лучи, они разогнали туман и озолотили малиновый сарафан хозяйки. Катерина Алексеевна остановилась у расписной колонны крыльца и держала на руках персидскую кошку.

Катерина – высокая, темноглазая, моложавая, по-девичьи заплетает светлые волосы в две косы и спереди спускает их с плеча до пояса. В Кергедане она полная хозяйка. Править она умеет. Когда надо – улыбнется, когда надо – нахмурится и своего всегда добьется.

Отец ее, муромский купец, привез семнадцатилетнюю Катю в камский край. Сам Аника Камский выбрал ее за красоту в жены Григорию. Замуж пошла насильно, до венца не выдавши будущего мужа в лицо. На третьем году немилого замужества родила сына Никиту и стала думать, как сделать его счастливым. Эта дума заполнила ее собственную жизнь, и мысль о том, чтобы направить судьбу сына, исподволь заставила Катерину все решительнее направлять и судьбу собственную...

Катерина видела с крыльца, как туман облачками поднялся в поглубевшее небо, как просыхала роса на склонах холма, как заиграли под солнцем речные стремнины. Уже ясно обозначились вдали очертания лесов по берегам Яйвы, а на противоположном низком берегу Камы коростели, чибисы и кулики восславили солнце.

Катерина, не спуская с рук кошки, наблюдала за утренней сутолокой Кергедана.

Из ворот торгового посада пастухи выгоняли мычащее и блеющее стадо на луга, прямо чуть не под стены крепости. С береговых причалов, где шла погрузка соли на плоты и баркасы, доносило окрики грузчиков. И во все эти привычные для Катерины звуки мирной, будничной жизни примешивался звонкий стук топоров, не умолкавший с самой весны от зари до зари.

Хозяйка Кергедана уже и погоду оценила – тучки на западе сулили дождь к обеду... Как будто и ветерок поднимается, рябит воду, гонит на гальку и ракушечник мелкую волну... Вот и колокол в храме ударил – заутреня отошла...

И вдруг у хозяйки разжались руки. Кошка соскользнула на ступеньку крыльца, а Катерина приложила к глазам ладони, заслоняясь от солнечного луча...

Среди камской шири, еле различимый, летел к городку Кергедану белый струг с надутым парусом. Холодок пробежал по плечам Катерины, когда узнала, чей это струг. Постояв в раздумье, она пошла в опочивальню к мужу.

Здесь, в опочивальне, как и во всех покоях, стоял крепкий запах свежего смолистого дерева. Григорий Строганов еще спал. Катерина растворила окно.

– Гриша, пробудись! К нам Семен жалуется! Его струг на реке.

Муж открыл глаза и с мученическим выражением лица приготовился было вставать, но словно бы раздумал и расслабленно откинулся на подушку. Всем своим видом он как бы выражал недоверие услышанной новости.

– Или не понял меня? Братец твой, а мой деверь, сейчас сюда прибывает.

– Да на кой чемор он мне сейчас? Рано еще!

– Давненько не навещал. Видно, соскучился. Может, отец велел поглядеть на наше житье здешнее?

– А мне встреча с братцем не к спеху. Недоспал я еще, слышишь! Небось подождет.

– Какой храбрый стал! Опять вечер хмельного перебрал? Еле приполз, как слыхала?

– Прости, Катеринушка. Беседовали с Аггеем Михеичем и перепили малость. Любишь сама, чай, про московское житье послушать!

– Уж куда как люблю. Других дел у меня нет, только бы, уши развесив, слушать побасенки. Что сидишь, как идол вогульский? Вылезай из перин!

– Неужели заставишь идти Сеньку встречать? Чего это ради?

Катерина подошла к дверям, позвала молодую прислужницу Марьюшку. Та прибежала тотчас.

– Здеся я.

– Помоги хозяину! Огуречного рассолу принеси, лицо ему студеной водой умой... К приходу гостя чтоб хозяин готов был. А на бережок придется мне одной идти встречать.

Григорий проговорил зло:

– Зря потрудишься. Гость незванный, да и не больно желанный. Коли мы ему надобны, сам дорогу найдет.

– Уж молчал бы, лежебока!

– Как велишь, Катеринушка. Только спешить не неволь!

Когда за Катериной закрылась дверь, Григорий вслед жене погрозил кулаком:

– Ведьма тощая! Вот наградил, прости господи, родитель женошкой. На красавице, говорит, оженю. Ожил! А в красавице-то кожа да кости. С нею и в постели никак не угреешься...

Охая и крестясь, Григорий стал одеваться.

Ростом он высок, как все Строгановы, но сильно сутулится и оттого кажется ниже. Лобастая голова на короткой шее. Под глазами – мешки. Седина в рыжеватых волосах. Борода у Григория не густа, но подлиннее, чем у всех Строгановых. Содержит ее Григорий в холе.

Выпив принесенный ковш огуречного рассола, Григорий велел прислужнице, совсем еще юной Марьюшке, растереть и помолотить хозяину спину.

– Так, так! Возле шеи постукай подольше. Кровушка шибче в голову кинется. Да ладошками, ладошками шибче бей по всей спине. Ну, хватит, полотенцем сырым оботри.

Помогая Григорию довершить утренний туалет, Марьюшка нечаянно угодила в хозяйские объятия. Испуганная его грубой лаской, девочка завизжала, вырвалась и убежала.

Григорий самодовольно улыбнулся.

– Ишь испугалась, дурочка. Подрастет малость – бояться перестанет, привыкнет. Из строгановских рук не вырываются!..

Когда Семенов струг причалил к берегу, солнце уже пряталось за тучи, небо сердито хмурилось к ненастью. Встречала гостя Катерина да еще московский горододелец Аггей Рукавишников. Семену Катерина доложила, что брат его занемог и не покидает ложа. Показывала крепость деверю сама хозяйка...

А в сумерки, когда шел дождь, Семен, так и не повидав брата, заглянул в заезжую избу к ее дородной содержательнице Евдокии Жирной, повстречал у нее кое-кого из кергеданских жителей: солевара Михаилу, посадского старосту Осипа Голубева и купеческого сына Петра Пахомова, недавно возвратившегося из первопрестольного града Москвы. Эти люди, душой и телом преданные Семену, сообщили ему все новости, касавшиеся тех кергеданских дел, о которых Катерина предпочла умолчать.

* * *

Перед полуночью ветер разогнал дождевые тучи. Семен уже в ночной полумгле обошел крепость по стене и убедился, что после новой перестройки Кергедан можно считать неприступным. Подумал, что запасов его хватит на целый год сидения в осаде, если враг вздумает брать крепость измором. Стал размышлять о брате. Как доложили верные люди, никакой недуг не укладывал его в постель, значит, просто неприязнь между братьями углубилась, заставила Григория искать предлог, чтобы отказать брату в простом гостеприимстве.

Семен пожалел, что легко согласился на просьбу Катерины перебраться со струга в свои новые хоромы, заботливо изукрашенные под надзором кергеданской хозяйки и убранные с самой непривычной для Семена роскошью. Будто Катерина готовила его палаты и хоромы для собственного жилья! Богатство и просторность хором буквально ошеломили Семена. Он должен был признаться самому себе, что таких палат, такой утвари не видел в самых богатых купеческих и даже в боярских домах. Налюбовавшись ночными просторами Камы с высоты могучих крепостных стен Кергедана, Семен Строганов с удивлением оглядывал теперь одну палату за другой.

Так дошел до собственной опочивальни, где к запаху сосновой смолы примешивался и еле заметный дух каких-то благовоний, персидских или турецких. В свете лампад огляделся в горнице, запер дверь на засов, присел на лавку, вспомнил, что говорила ему Катерина, когда ходили с ней по крепости. Вспомнилось и новое и давнишнее, снова про ту же Катерину... Много лет прошло, а кажется, будто случилось вчера.

На своем свадебном пиру Григорий напился до бесчувствия, и его снесли в опочивальню замертво. Оскорбленная Катерина в слезах вышла из опочивальни на лунный свет да на тропе в саду и столкнулась лицом к лицу с Семеном. Тот, тоже во хмелю, шутиливо обнял молодую... Она и припала к нему горячей головой. Никто, кроме них, не знал об этом, лишь они двое знали и помнили... С тех пор случались у них редкие тайные встречи. Семен не искал их, но избегать не мог...

Он уже собрался лечь в постель, прислушиваясь, как сторожевые на башне-часозвоне отбивают полночь. Неожиданно, совсем рядом, в его опочивальне послышался шорох. В стене покоя появилась светлая щель. В тот же миг стена будто треснула и начала раздвигаться, а в щели возникла Катерина со свечой в руке. Она вошла в опочивальню, и щель в стене снова закрылась. Семен пристально смотрел на Катерину, стоявшую перед ним. Услышал слова:

– Пошто так сердито глядишь? Думаешь, померещилось?

– Откуда взялась здесь?

– Неужто не обрадовался, что потайной ход к тебе наладил? С огнем пришла. Боялась, что девки забыли лампы затеплить.

– Уйди, Катерина.

– Пошто гонишь?

– Уйди, прошу.

Будто полной хозяйкой чувствовала себя здесь Катерина. Пошла к столу, поставила свечу, обернулась к Семену – с распущенными волосами, в ночной рубаше.

– Чего глядишь? Обнял бы! Или Анна Орешникова запрет на тебя наложила?

Она засмеялась лукаво, опустила на лавку и припала к плечу Семена.

– Ждала тебя. Знала, что скоро приедешь. А сейчас пришла обещание с тебя взять.

– Какое?

– Что на Орешниковой не женишься. Дашь такое обещание?

– Зачем оно тебе?

– Для покоя. Обмираю при мысли, что чердынскую боярыню женой наречешь.

– Никому не даю обещаний.

Произнося эти слова, тут же вспомнил свое обещание Анне взять ее по осени на Косьву.

– Как знаешь, Семен. Но помни: покуда она возле тебя полюбовницей ходит, я молчу и терплю, потому сама для тебя такая же полюбовница. Но если вздумаешь с ней под венец, я сама венец этот сниму вместе с ее головой.

Катерина отошла, заслонила от Семена свечу. Он видел очертания ее стана.

– Когда совсем в Кергедан переберешься?

– Не надумал еще.

– Пошто так?

– Не по душе мне такие хоромы.

– Стало быть, зря их для тебя изукрасила? На Косьве зимовать будешь?

– Все знаешь?

– Кое-что знаю от своих людей. Ты ведь тоже про мою жизнь с Григорием осведомлялся. Седни у Евдокии Жирной не попусту побывал?

– Разговор тот ни тебя, ни Григория не касается.

– Да я и не любопытствую, тем более что верных тебе людей и подкупом соблазнять не хочу. Зря только завел их здесь! Про меня да про брата твоего меня самое лучшее спрашивай. Я тоже тебе верная. Может, вернее всех, потому девичью честь тебе отдала. Знаю, что правду от меня таишь, но сердцем чую, что не попусту нынче сюда приехал.

– Мысли свои, Катерина, открываю тем, кому разумом доверяю.

– Никому, стало быть, не открываешь? Окромя себя, никому же не веришь? Мне бы поверил – может, и помогу тебе.

– Коли есть охота, помощи, Катерина.

– Чем же помочь?

– Подайся зимой в Новгород и Псков.

– Догадываюсь, зачем посылаешь. Людей нетяглых и неписанных маловато стало. Надеешься бояр с хлопами в камский край зазывать. Уговаривать их я должна? Так, что ли?

– Догадливая.

Катерина показала на запертую дверь опочивальни и засмеялась.

– На засов заперся, а я сквозь стену прошла. Видишь, как я в тайны твои проникаю. Как в сказке!

– Подашься в Новгород?

– Поеду, если скажешь, зачем тебе люди понадобились.

– Народу мне надобно много.

– Все еще боишься правду высказать? Так сама тебе скажу. Чусовую обратять хочешь? Об одном с тобой думаем. Жаль, что не с тобой венцом покрылась, а то бы далеконок вместе ушли. Поеду в Новгород, только плату с тебя высокую спрошу.

– Боишься, что у меня золота не хватит?

– Золота мне не надо. Свое водится в избытке. Мне другое от тебя надобно.

– Проси.

– Ежели овдовею – женой назовешь?

– Вольностью своей не расплачиваюсь. Не денежка!

– Что же, как знаешь. По-строгановски жить научилась. От всякого шажка прибыли жду, задаром пальцем не шевельну. Муторно мне здесь. Застудила себя возле Гришки. Никиту от него родила, а дитя, кажись, тоже с отцовской холодной душой.

– Пьет, что ли, Григорий?

– Да пусть его! Во хмелю хоть наказания божия меньше боится. Недавно каялся мне, что убить тебя замышлял за то, что отговариваешь богатство делить. Дурак! Кому каялся? Кабы знал, что душа во мне только для тебя и жива! Никто тебя, Семен, так любить не будет.

Напраслину сейчас сболтнула, когда в жены напрашивалась за помощь в Новгороде. Даром все сделаю! Я тебе самый верный друг. Когда настанет для тебя пора полюбить женщину по-настоящему, всей душой, вот только тогда поймешь, что не для ласки одной нас господь создал! Поймешь, какая сила в сердце женском таится. Она и на светлый подвиг поведет, а то и на любое темное дело...

Отошла Катерина от стола, стала в темном углу горницы. Из темноты звучали ее слова:

– Все одно без настоящей любви не проживешь. Проснется она в тебе, сама собою проснется, будто созреет сердце для нее. И вот в ту пору, когда созреет в тебе любовь, ты и вспомни обо мне. Вспомни, что не задумалась прижаться к тебе девушкой, не побоялась пьяного мужа. Вот и отдашь ты в ту пору настоящую свою любовь мне. Слышишь?.. А про Новгород завтра на досуге потолкуем. Все сделаю, о чем ни попросишь. Сейчас ложись. Понимаю, где сейчас твои помыслы, но в Чердынь я для тебя потайного хода не наладила! Уж не обессудь.

Семен подошел к темному углу, взял Катерину на руки.

– погоди! Поднеси к столу!

Семен покорно поднес Катерину к столу, и она, смеясь, задула свечу.

* * *

Катерина, вернувшись, не застала мужа в опочивальне. Она остановилась у открытого окна, обдала разгоряченное лицо сырой ночной прохладой. В эту минуту она снова верила, что после всех испытаний, что послал и еще пошлет ей бог, будет она в конце концов навсегда рядом с тем, кому с первого взгляда отдала свою любовь.

Ей стало холодно от ночного ветра. Закрыла окно, обернулась и от неожиданности замерла: муж, босой и в исподнем, стоял рядом.

– Куда это ты, Катеринушка, в такой неурочный час ходила?

– В сад выходила, голову от духоты разломило. Недужится мне.

– А может, дорожкой ошиблась? Уж не к Семену ли бегала жалиться на меня?

– Ты в разуме или опять лишнего хлебнул? Гляди на меня! В чем я? Как лежала в постели, так и стою перед тобой. Думаешь, могу к Семену в ночной рубахе пойти?

– Катеринушка! Не бей! По глазам не попади, матушка! Прости неладное слово.

– Так ведь и знала, опять перепил, а ведь я с тобой хотела не о пустом поговорить. Слушать-то хоть можешь, горе ты мое?

– Говори, Катеринушка, о чем хочешь.

– Ты, Григорий, все о пустом печешься, разлеился вконец, вот братец твой Семен тем временем задумал...

– Чего задумал?

– На Чусовой хозяином встать.

– Неужели? Чего же нам делать? Надумай, Катеринушка.

– Давно надобно тебе Семена честь честью приветить, злобу свою на него поглубже спрятать, доверие его искать.

– Дружком ему верным прикинуться? Так, что ли? Этого хочешь?

– Хотеть-то хочу, да разве сумеешь? Ну, сам скажи: сумеешь ли?

– Сумею, Катеринушка. Лестью его обойду, на нее всякий человек ловится. Правда твоя: давай-ка поможем ему на Чусовой встать, а грамотку на новые земли опять себе от государя попросим. Он к Строгановым не без милости.

– Но, смотри, языком не брякай, чтобы про Семенову думу весть до Якова не дошла, не то он сам себе грамоту выпросит.

– Превеликая ты у меня разумница, Катеринушка. Как же ты дознаться об этом успела?

- Через верных людей дозналась. Не дешево стало!
- А не пора ли, женушка, после Чусовой через таких же людей Семену руки окоротить?
- Там видно будет. Сперва глядеть станем, как он этими руками Чусовую приголубит. Подойдя к постели, Катерина скинула на ковер подушку и одеяло.
- На полу спи. Осердил ты меня.
- Смилуйся, Катеринушка!
- Катерина легла.
- Катеринушка, помилуй за обмолвку. Не привычно мне на твердости спать. Хоть с краюшка дозволю!
- Ладно.
- Получив милостивое соизволение, супруг пристроился на самом краю просторного ложа.

3

В бывшей правежной избе заступил в дневной наряд вятский парень Мокей Мохнаткнн. С прошлого года Григорий Строганов завел для охоты ловчих птиц, соколов, приспособил под сокольню правежную избу, а вершить правеж велел с той поры у крыльца воеводской избы: там, возле самого крыльца, врыли в землю четыре столба, вязать провинных. Но по привычке народ по-прежнему называл новую сокольню правежной избой, а может, и догадывались горожане, что подручные Григория Строганова по-прежнему творят в избе тайный хозяйский суд и расправу.

Изба просторна. Возле печи – насесты из жердей. На них сидят соколы, а пол под насестами в пятнах подсохшего птичьего помета.

Первым делом Мокей налил птицам свежей воды из кадки возле двери. Под ногами Мокея шуршала шелуха подсолнухов – насорил сменившийся сокольничий. Вновь заступивший помянул товарища недобрым словом, принялся подметать пол. За работой затянул любимую песню:

Ах, да во Каме во реке водица силушкой могучая,
Ах, да во Каме во реке воля молодца моя потоплена...

Окончив работу и песню, Мокей оглядел избу, бросил метлу под лавку, покачал головой, сказал вслух:

– Нешто тут вычистишь? Все одно под птицей срамota. Опосля лопатой поскреблечь, что ли?

Дневальный хмуро осмотрел соколов на жерди, сердито сплюнул.

– Зверье в птичьем обличии! Одна у них забота: птах небесных на смертушку бить, кровь пить да на пол гадить.

Он посидел на лавке. Тут же Мокея стало клонить в сон. Но он знал, что сам хозяин может прийти с часу на час. Поэтому, ободряя себя и отгоняя дремоту, Мокей начал вслух разговаривать сам с собой:

– Поспал, кажись, вдосталь, а позевота напала, не отвязывается! Пойти, что ли, покамест боярина в голбце проведать?

Парень, понатужившись, открыл крышку голбца посреди избы. Из-под пола на него пахнуло сыростью и плесенью.

– Жив, что ли, боярин?

Услышал тихий ответ:

– Водицы дай.

– Про питье до поры позабудь.

– Напой, сделай милость.

– Разумей, голова, что во мне жалость есть. Нешто не вижу, каково тебе без воды тяжело, но приказ хозяйский нарушить не смею. Напою, а хозяин дознается и плетью измолотит. Что же я сам себе враг, выходит?

Мокей закрыл крышку голбца и покачал сокрушенно головой:

– Горазд хозяин над людьми изгаляться. Может, послушаться да и впрямь напоить старика? На Руси, поди, этот боярин тоже силу имел большую. Может, ратными делами возвеличился, потом оплошал. Не поглянулся царю – и конец боярскому житью. Вот и пришлось выбирать: то ли под пытку лечь, то ли бежать куда глаза выглядят. Он и побег, да, вишь, в наши лапы угодил. Чего это хозяин на него так озлобился, в голбец упрятал?

Внезапно тяжелая дверь резко отворилась, и в избу ступил, пропуская вперед самого Григория Строганова, молодой служивый человек Алексей Костромин: его задержали весной на глухой дороге в лесу, допрашивали, вызнали, что он из боярских детей, то есть мелких служивых дворян, а утек от царской службы, боясь наказания за какую-то провинность в Москве.

Доставленный в Кергедан как пленник, Алексей Костромин ухитрился быстро войти в доверие к хозяину и стать ему помощником в любых делах. Обучался у него Григорий и беспокойному искусству соколиной охоты.

Костромин держал в руках голубя со связанными лапками.

Мокей снял шапку и низко поклонился.

– Как тут мои орлики-соколики здравствуют? – спросил Григорий.

– А чего им сдеется? Все на виду.

– Хороши! Ты, Мокей, в ловчих птицах толку не разумеешь. Тебе что низовой, что верховой сокол – все одно. Смотри, за нерадение выгоню, на соли сгоню...

Костромин подошел к насесту, снял кожаный колпачок с головы одного сокола. Птица, тараща глаза, защелкала клювом, норовила клюнуть руку Костромина.

– Гляди, Мокей, как изголодались!

– Эко диво! Вторые сутки не кормлены. Сами велели. Ты да хозяин.

– Вот и хорошо. Изволь, Григорий Иоаникиевич, теперь голубку взять и пожалуй на волю во двор.

Сокольниковый передал связанную голубку хозяину. Григорий с голубкой и Костромин с лучшим охотничьим соколом Ярм в руке вышли во двор. Он был просторен и пуст, зарос травой. Одну его сторону отгораживала от улицы длинная стена соколей избы, остальные заслонял от постороннего глаза высокий тесовый забор.

– Сейчас вот раззадорим охотничков наших, пусть полюбуются, как Ярм кровью свежей напьется! Тогда и братца твоего, как желал, на вечерней зорьке ловом сокольным распотешим... Только вынесет Мокей соколов, изволь сам голубку пустить, Григорий Иоаникиевич!

Мокей вынес из избы две пары соколов, намеченных для вечернего лова. С них сняли колпаки, чтобы соколы, оставаясь на привязи, могли следить за происходящим. Птицы волновались, впиваясь когтями в толстую кожу рукавиц ловчего.

– Пускай, хозяин-батюшка!

Голубка, чуя гибель, робко захлопала белыми крыльями, будто и не радуясь неожиданной свободе. Костромин позволил жертве отлететь почти до забора, спустил Ярмо.

– Гляди, хозяин, как подтекает! Вот это взогнал!

Сокол, не делая ни зигзагов, ни разворотов, нырнул прямо под летящую голубку; птица в ужасе взмыла вверх, а Ярм, устремившись стрелой в вышину, намного опередил беглянку и с неотвратимой точностью нанес сверху смертельный удар. Он поразил жертву не клювом, а задним «отлетным» когтем: удар пришелся голубке под левое крыло и распорол птице бок, словно острым ножом. Трепеща крыльями, белая голубка упала во дворе, сокол налетел, перервал горло и погрузил клюв в горячую, струйкой бьющую кровь. Четыре сокола, сидевшие

на Мокеевых рукавицах, шипели, завистливо клекотали и порывались взлететь. Сокол Ярый потерзал мертвую птицу, потом бросил ее и по зову Костромина взлетел к нему на руку. Вместе с Мокеем Григорий и сокольный воротились в избу.

– Вот эдак и надо перед охотой в соколах голодный разум завистью мутить. На заре погляди, Григорий Иоаникиевич, как они будут над Камой птиц и гусей насмерть бить.

Костромин снова надел на голову Ярого колпачок. Взволнованные ловчие птицы никак не успокаивались, били крыльями, когтили насесты.

– Назлил ты моих соколов, Алеша! Видать, в соколиной охоте ты горазд. Часом, не из сокольных ли великокняжеских в наши земли подался?

– Куда мне до великокняжеской охоты. У батюшки своя ловля была, вот и понаторел сызмалу... Не велишь ли теперь боярина полоненного опять поспросить? Нельзя ему долгий отдых давать.

– А ведь от погляда на соколов чуть было не забыл про это. Только стоит ли нынче пытаться его? Еще крик поднимет. Как бы братец Семен не проведал, что опять боярина знатного изловили.

– Закричит – утихомирю.

– Что же, тогда потолкуем с упрямым. Мокей, отпирай голбец.

Парень сердито крикнул вниз:

– Выходи, боярин, на беседу с хозяином!

Щурясь от яркого света, снизу показалась седая голова. Пленник по стремянке выбрался из подполья. Ростом высок, телосложение могучее, лицо крупное, породистое, а одежда – хуже нищенской: холщовые порты и грязная, окровавленная рубаха. Запеклась кровь и на бороде. Лицо, тело, даже босые ноги в ссадинах и синяках. Руки связаны за спиной.

Григорий укоризненно покачал головой:

– Ну, хорош! До чего себя этой молчанкой довел! И долго мне еще упрашивать тебя придется?

– Напой скорей.

– Ишь чего захотел? Или солененького покушал?

– Со вчерашнего дня не пивши.

– Сам себя и вини. Мокей, ступай на волю! В избу никого не пускать... Так, стало быть, попить охота? А вот не дам. Объявись сперва, кто таков. Брось упрячиться! Скажешь – велю распутать и сам меду поднесу. Поешь тогда, чего душа пожелает.

– Воды дай.

– Не дам питья, покуда упрямства не пересилишь. Не любите вы, бояре, нас, купцов, что повыше вас перед государем поднялись. Назови свое имя, а то человек мой снова пытать тебя станет. Молчишь? Ну-ка, Леша, плеточкой его!

– Тебе, Григорий Строганов, не откроюсь, как сказал! Забивай скорей, и делу конец.

– Зачем смерти себе просишь? За мертвого никто полушки не даст. Ты мне живой надобен. Куда зарыл свое золото?

Костромин перебил Григория:

– Дозволь, хозяин, совет подать?

– Говори.

– Плетью его не проймешь. Дозволь твоему верному слуге сему боярину оплеух надавать.

С такого унижения небось заговорит, если впрямь боярского звания.

– Тебе видней. Сам честного роду, стало быть, начинай.

– Не смей ко мне притронуться, злодей! – глухим шепотом сказал пленник.

Григорий взял плетку из рук Костромина.

– Сказал, начинай! Кулаком его по ланитам!

– Не тронь, добром прошу!

– Откройся! Пальцем никто не тронет! Все молчишь? Бей по лицу, Алексей!

Костромин ударил с размаху. Пленник пошатнулся, но выстоял. Он в упор глядел на Григория, и тот не выдержал, отвел глаза.

– Поддай еще, Алексей!

Но едва Костромин снова замахнулся, как дверь избы распахнулась. На пороге стоял Семен Строганов.

– Не смей!

Вошедший взглядом приказал оторопевшему Мокею войти в избу и запереть дверь изнутри. В сумраке избы он медленно обвел всех пристальным, недобрым взглядом.

– Ладный у тебя помощник, братец! Человеку со связанными руками седину старческую кровью марать? Землю строгановскую поганить?

Григорий растерянно поглядывал на брата.

– Не гневайся, Сеня, на моего слугу. Я сам так велел. Плеть его не берет. Не могу, братец, от сего царского ворога признание добыть.

– Чем перед тобой сей человек провинился?

– В бегах он. Царю враг.

– Спрашиваю, перед тобой чем провинился?

– Не волен спрашивать, братец. Я здесь хозяин. Мое дело допрос чинить. Царь на то волю дал.

– Боярин сей когда подвластным тебе стал?

– Когда на моей земле объявился и пойман был.

– Пойман, так на суд в Москву и отправь.

– За беглых врагов царских заступаешься, братец?

– Пошто же вон того молодчика не хлещешь, Григорий? Он тоже, как слышно, от царской службы сбежал!

– Потому не хлещу, что сразу повинился. Согласие свое дал нам слугою быть.

Не слушая ответ, Семен подошел к старику. Они посмотрели друг другу в глаза.

– Семеном Аникиевичем Строгановым прозываюсь. Прощения прошу за брата, что уважение к сединам потерял. Кто будешь?

– Родом из Новгорода. Макарий Голованов.

– Как? Боярин Голованов? Царю друг? Астраханского хана победитель?

Старик опустил взгляд.

– Такая пора пришла, что царь не другом, а врагом почитать стал. Доносу ложному поверил, опалу наложил.

Семен велел Мокею развязать боярина. Дал ему свой платок стереть с лица кровь.

– Дозволь спросить тебя, боярин: кто велел по лицу тебя бить?

Голованов ничего не сказал.

– Неужто это ты, Григорий, сам такую забаву надумал?

– Я только плеточкой, плеточкой легонько велел, а вот Алешка приказа ослушался, опозорил боярина.

– Выходит, чужим советом живешь? Боярин Макарий! Сей же час прошу тебя на моих глазах позор с себя смыть! Молод сей змееныш знатного и честного человека избивать. Ежели отняли у тебя мучители силу, сам буду его учить уважению к сединам.

– Семен! Сокольничего моего Алексея в обиду не дам. Он мне служит.

– Плохо служит! Сядь, Григорий, на лавку, а плеть на стол положи.

– Не волен приказы мне давать!

– Моей воли на все дела хватит, а лишком с тобою еще поделюсь. Сам ли желаешь постоять за себя, боярин?

– Сам желаю. Только воды напьюсь.

Голованов с жадностью напился из ковша, вышел на середину избы и смерил Костромина долгим взглядом. Тот было отступил под защиту Григория. Хозяин слегка заслонил собой слугу.

– Не позволю над ним расправу чинить!

– Сядь, Григорий.

– Самоуправствуешь, братец. Катерину кликну. Мокей, беги за хозяйкой! Моя крепость!

Не позволю никакому гостю моей воле хозяйской перечить!

Не обращая внимания на слова брата, Семен указал Мокею на Костромина.

– Не за хозяйкой беги, а вон того молодца посередь избы выволоки.

Но тут сам Костромин внезапно кинулся на Голованова, рассчитывая одним ударом свалить с ног ослабевшего пленника. Но он недооценил ратной выучки старого воина. Тот отразил неожиданное нападение встречным ударом, и Костромин отлетел под ноги Григорию.

Боярин сказал повелительно:

– Ну-ка, выходи наново, молокосос бессовестный!

И лишь только растерявшийся Костромин поднялся, кулаки бывшего воеводы снова отправили его на пол, на этот раз под соколиный насест. Весь в перьях и птичьим помете Костромин еле выбрался из-под насеста. Боярин отвернулся.

– За себя уплатил сполна, Семен Аникиевич, а за прочее все – бог ему судья, – спокойно сказал Голованов.

– Брось и думать об этой мрази. О другом я помню: как ты батюшке нашему помог до царя дойти. В этом немалая заслуга твоя перед моим родом. Ты помог батюшке на Каме встать. Сейчас одежду достойную тебе принесут, со мной в хоромы пойдешь.

– Не смей у меня самовольствовать! Своему пленнику я сам и судья праведный! – выкрикнул Григорий.

– Был до сего часа боярин Макарий твоим пленником, а теперь дорогим моим гостем стал.

– Катерине скажу!

– Быстрее говори! Вон она сама к нам жалуется!

Катерина уже стучалась в запертую дверь. Она долго искала Семена и проведала, что он направился следом за Григорием к новой сокольне.

– Катеринушка! – Григорий чуть не с мольбой протянул к ней руки.

– Никак, вовремя поспела? – с лукавством спросила Катерина, с одного взгляда разгадав смысл происшествия в избе.

– Рассуди братский спор. У муженька разумения своего нынче не достало, – хмуро сказал Семен.

– Боярина, что наши люди полонили, отнять задумал. Слугу моего, Алешку Костромина, изувечить позволил.

Катерина разглядела кровь и грязь на лице Костромина.

– Ты, Гриша, о молодце не горюй. За битого, говорят, двух небитых дают. Невдомек мне только, кто же это его так изукрасил?

– Да вон тот, пленник мой, боярин Голованов. И его-то братец Семен у нас запросто отнять хочет, будто я у себя не хозяин. Рассуди нас с братом, Катеринушка!

– О чем просишь? – строго спросила Катерина. – Кто я тебе? Жена твоя только. Судить братьев Строгановых – не моего ума дело.

Семен перебил ее:

– Не притворяйся, Катерина Алексеевна. Бог тебя не бабьим разумом наградил. Коли просит муж – уважь! Рассуди спор. Как скажешь, так и будет.

Катерина недолго искала решение.

– Совсем как ребяташки малые! Будто не можете кон бабок разделить. Извольте, стану вас судить. Только, чур, как решу, так и будет. Какой тут у тебя, Мокей, сокол самый лучший? Который из них Ярый?

– Вон энтот, – хмуро указал Мокей.

– Возьми его на руку! А вы, братья Строгановы, извольте рукавицы надеть и руку к соколу протянуть. К кому на рукавицу сокол перейдет – тому и пленником владеть.

Повинуясь капризу женщины, оба брата надели ловчие рукавицы и протянули руки к Мокею с соколом. Птица в недоумении потопталась на Мокеевой руке, затем осторожно сошла к Семену. Катерина звонко рассмеялась.

– Тебе, как погляжу, весело свое-то упускать, Катеринушка? – жалобно спросил Григорий.

– Дивно больно! Соколиным разумом и бабьей хитростью спор между братьями решила!

– Соколиным разумом! Вот пропала нынче обещанная брату соколиная охота. Куда Алешке с такой рожей на людях показаться? Чать, не мужик!

– Не печалься. Сама не хуже Алешки соколов в небо отпущу. Пойдемте отсюда на волю, а то дух здесь тяжелый.

4

По крутой тропинке спускались с вершины холма Семен и Катерина. Когда вошли в вечернюю тень соснового бора, заросшего папоротником, Катерина потянула спутника за руку, остановилась.

– Дай передохну! Куда торопиться-то? Вечер теплый... Минувшую ночь на струге ночевал?

Семен кивнул.

– Побоялся, что опять сквозь стену приду?

– Одному пора побыть. Есть о чем подумать.

– На Гришку ревность нападать стала. Не спит по ночам, тревожится. Караулит, чтобы из опочивальни не отлучалась.

– Ему – ревность, тебе – страх божий. А мне?

– Тебе, как всегда, опять дорога. Значит, скоро опять на меня тоска навалится. Тесно мне в Кергедане, Семен.

– Нынче некогда будет тосковать: в Новгород подашься.

– И то. Когда в Конкор поплывешь?

– Попутного ветра жду.

– Погляди, какой закат кровавой. Примета – к большому ветру. Хоть бы, на мое счастье, он тебе не попутным оказался!

– Может, так и будет. Ты счастливая... По весне Никиту своего сюда из Москвы позови.

– Надобен тебе?

– Пора к строгановскому ладу привыкать. В Москве обленится и избалуется.

– Зря печалишься. Забота-то моя.

– Как сказал, так и сделай.

– И мне, стало быть, пришла пора наказы твои безраздумно выполнять? Ну а ежели не послушаюсь? Что сотворишь со мной?

– Про это не думал. Пока еще никто моего наказа не ослушивался.

– Эх, Семен, Семен! За то и полюбила тебя! Знать, так и надобно в свою силу верить. Только страшно мне за тебя. А вдруг на такого же напорешься и негаданно раннюю смерть примешь?

- Может и так случиться. Только и тогда лягу ближе к тому месту, к которому путь держал. Да, вспомнил, о чем с утра спросить тебя хочу, Катерина!
- О чем хочешь, спрашивай. Вся твоя.
- Почему Григорий просит Костромина в новый острог на Косьву послать?
- Я велела.
- Не поглянулся тебе?
- Больно часто на меня поглядывать стал. Что волк голодный. Не люблю таких. Забирай его на Косьву.
- Подумаю. Молодец отчаянный, но подлости в нем – через край. Узнал ли Григорий, пошто он из Москвы убежал?
- Из-за бабы, рассказывает. С мужем ее столкнулся, тот чуть не государю самому пожаловался, и вышла Алешке опала.
- Ты, стало быть, боишься, чтобы он из-за тебя с Гришкой не столкнулся?
- Ты все шутики со мной шутишь! Что ж, шути, пока весело тебе. Дальше один ступай-ка. В рощице побуду, о заветном помечтаю.
- В добрый час. Покойной тебе ночи.
- Семен отошел, Катерина шепотом позвала его назад. Он воротился.
- Или мечтать раздумала?
- Уедешь – домечтаю. А пока не уехал – не ночуй на струге, слышишь?
- Надеешься вырваться, коли заснет?
- Ежели и не заснет, все равно вырвусь!

Глава седьмая

1

Погас закатный свет над городком, и стерлись с земли тени. На три стороны от Кергедана растянулись строгановские варницы с рассольными колодцами. Идет от варниц день и ночь едкий смолистый дым. В слободках им даже срубы изб пропахли. Временами ветер приносит его дух и за стены городка.

Еще в Чердыни, на плотях, Иванко Строев вдоволь наслушался про тягостный и изнурительный труд солеваров. Заводятся у людей от соленой мокрети язвы на теле, волосы выпадают, глаза слезятся, опухают и покрываются бельмами, а кожа на руках и ногах трескается, кровоточит из-под корост.

Конечно, в любом труде есть свои тягости, но, по словам плотоводов, работу возле соли бог дал людям в наказание за грехи.

По слову Семена Строганова Иванко наведлся в Кергедане к Аггею Рукавишникову. Зодчий пытал его знания в плотницком ремесле, остался доволен опросом и приказал, не мешкая, собирать артель плотников. Людей дозволил брать по выбору, а если не хватит сноровистых рук, не запретил искать их и в других хозяйских острогах.

Довелось Иванку поговорить с хозяйкой Кергедана Катериной Алексеевной. Наказала поначалу изладить для нее легкую ладью, чтобы бегала по Каме под парусом.

В городке Иванко подивился доброте крепостной стены и хозяйских хором, но тянуло его поглядеть своими глазами, как люди соль варят, без которой самый вкусный кусок в горло не полезет. Смолистый дым варниц еще пуще разжигал любопытство, но артельному старосте уже не стало хватать дня, чтобы управляться с делом. Наконец свободный вечер нашелся. Иванко вышел из городка.

За слободкой солеваров, где стал острее ощутим запах дыма, несколько небольших озер или прудков отражали в своей омертвелой глади деревья елового леса, вечернее небо и почерневшие срубы изб, окутанные дымным чадом. Избы стояли вразброд. Топили их по-черному, без труб; дым выходил из дыры в кровле, а то и просто во все щели.

Иванко заглянул в одну избу и сразу закашлялся от дыма. В земляном полу вырыта яма для очага. Над слабым огнем подвешен на железной дуге деревянный ящик. Идет от него слабый пар. Пожилой человек помешивал деревянной лопатой булькающую в ящике жижу.

– Дозволь поглядеть, добрый человек.

– Любопытствуешь? Гляди. Только скоро глаза начнет дымом грызть. Откуда к нам явился? Меня Анисимом зовут.

– А меня Иваном. Костромич, плотник я. Аргун, по-нашему.

– Вот как! А я в ночном седни у восьми варниц. Внучка мне пособляет рассол в чрёны заливать, а иной раз и салгами их еще зовут. Не понял, поди? Вот он, чрён.

Мужик стукнул по деревянному ящику. Его доски были покрыты выпаренной солью, как инеем, искрившейся блестками от вспышек огня.

– Стало быть, впервые глядишь, как соль растим?

– Ране не доводилось.

– Запоминай.

– Подолгу рассол парите?

– Раз на раз не приходится. Смотря какой по насыти попадет. Иной раз без передыху по двое суток варим да мешаем. Лешачья работа. Гляди, на руках ногтей начисто нет. Соль съела. Для брюха от нее польза, а телу – одна хворь.

– Неужели и озера соленые?

– Смотря где. Бывают и соленые, а наши – обыкновенные, пресные. Водицей их родники поят. Конечно, бывает, что пускаем рассол в отстойники, наподобие прудов, чтобы солнышко в них помогало соль выпаривать. Но только в отстойниках соль ржавщину набирает, ей цена другая. Для хозяев убыточно. Рассол, парень, качаем из земли по трубам.

– Чать, колодцы глубокие?

– И не говори. А ты не видал, что ли?

– Нет.

– Пойдем, покажу. Коль пришел, надо все повидать.

Мужик подкинул в яму несколько поленьев и повел Иванка по тропке, густо присыпанной солью. По ней от колодцев носили в варницы рассол.

На берегах ближнего озера, как у всякой воды, сидели мальчики с удочками. Поодаль, под навесами из еловых жердей, находились срубы трех колодцев. В черную глубь сруба спускались две деревянные трубы, задубелые, как будто вымазанные дегтем.

– Почто две-то?

– А как же? По этой под землю воду накачиваем из озера. Вода в земле соль разводит, а из второй рассол в обрат выкачиваем.

– Ловко!

– На погляд вроде просто. А уж каково эти колодцы ладить – беда! Тут, парень, без смекалки не берись. Смекалка для русского человека – струна его жизни. Русь смекалкой живет. Моему слову верь.

Мужик крикнул удившим ребятам:

– Какую приманку карась нынче берет, бесенята?

– На мух ловим, дядя Анисим! После заката они на мух больно охочи.

– На уху позовете?

– Да мы их станем коптить в варницах.

– Тогда ко мне приходите. Вот, уж все рыбацкие причуды сызмальства познали! Ведь и тут опять смекалка!

– А лари возле колодцев для какой надобности? – спросил Иванко.

– Сперва сюда, в лари, выкачанный из-под земли рассол сливаем, а уж из них бадейками в чрёны носим. Далеконько! Да вот теперь хозяйка Катерина нам облегчение сделала, дай ей бог здоровья. На дальние варницы стали рассол лошадьми возить. Хозяйка у нас с понятием. Для нее работный люд все же не скот.

– Сейчас рассол не качают?

– Нет. С вечера колодцы водой заправляют, а к утру в них рассол до потребного разжижения доходит... Так ты у нас по плотницкому ремеслу пойдешь? Небось стены городить?

– Не угадал. Ладьи да струги мастерить.

– Ишь ты! А с виду будто приказчик показался.

– Это меня Досифей эдак обрядил.

– Досифей? Неужели он в Кергедане?

– Вместе приплыли на хозяйском струге.

– Досифея мне надо непременно повидать. Он – моя заступа. С виду будто монах, а на деле разве поймешь! Ты, Иван, за него держись, в обиду не даст. А теперь не обессудь, пойду в варницы. Мне завтра соль из чрёнов сгребать... Наведайся когда, на досуге.

2

Бывший царский воевода боярин Макарий Голованов сидел в трапезной Семена Строганова. Сам хозяин ходил по горнице из угла в угол и внимательно слушал рассказ гостя.

– Вот и поверил государь навету, будто у меня с королем свейским тайный сговор. Бежал я из Москвы, думал тоже, как многие, через границу, в землю свейскую уйти, да вспомнил о твоём отце. Дружили мы с ним некогда, уважение имели друг к дружке. Брату твоему не открылся, ибо слыхал, будто он иных из нас, ежели маловато с собой добра, выдает в царские руки. К примеру сказать, отняв богатство муромского боярина Василия Стрельникова, к царю его связанным послал, а там немедля голову боярину сняли.

– Про это не знаю, – ответил Семен.

– Не дружишь с братом?

– Не жалуем друг друга. Отцовское богатство братскую дружбу рушит.

– Рад тебя, Семен Аникиевич, в глаза повидать. В Москве тебя за главную строгановскую силу почитают. Как Аника Федорович поживает?

– Поглядишь в Конкоре.

– Может, и позабыл меня? Времени прошло немало!

– Батюшка добра не забывает.

– Но, коли он, как говоришь, уже на покое, я ему не нужен. Может, Семен Аникиевич, ты сам меня помощником возьмешь? Али опасаться?

– Уже успел я важное дело для тебя надумать, боярин. Советом мне поможешь. Людей мне надо. Да побольше.

– Людей? Я с собой восемьдесят душ привел. И мужики и бабы на подбор. Покамest в лесах хоронятся, моего зова ждут. Добро кое-какое при них. Чай, из Москвы-то не на недельку я уходил. Знаю, не молод, верно, здесь мне и в могилу лечь.

– Семейство твое где, боярин?

– Остался один, как перст. Все в земле. Только бы братец твой меня царю не выдал. Тот погоню пошлет да и на тебя разгневаться может.

– Об этом не тревожься.

– Костромин не донес бы. Или любой соглядатай тайный.

- Этого молодца на Косьву увезу.
- Меня где укроешь?
- Возле батюшки до поры до времени побудешь.
- Великое на этом спасибо... Люди тебе нужны? Так послушай, что скажу. Дай мне своих верных людей. Разошлю их по Руси, и приведут они тебе дельных мужиков. Приустал народ от Иванова правежа.
- За сие обещание тебе низко кланяюсь.
- С этого дня, Семен Аникиевич, считай меня другом своим и помощником до могилы. Лонись, по осени, в Москве брата твоего Якова видел. Отозвал бы ты его сюда, а то на Москве скоро от хмельного сгорит!
- Знаю. Только сам рассуди, можно ли Строгановым на Москве без глаз и ушей остаться?
- Можно. Царь клевете на Строгановых не поверит.
- Кто знает! Поверил же клевете на тебя?
- Я не Строганов. И притом новгородского рода-племени. Царь Московский нас не жалует.
- Не Строганов, говоришь? Чем хуже? Ты, боярин Макарий, тоже целое царство к Руси пришел.
- Пришить-то пришел, это верно, а вот с кромешниками, с Малютой окаянным, не спелся, в ряд шагать не сумел. Да и Годунову, зятю Малютину, поперек дорожки, видать, стал.
- Чем друг другу помешали?
- Сдается мне, что больно высоко Борис Федорович метит.
- Говоришь как-то непонятно.
- Поживем – увидим. Рановато еще догадки строить, только добра я от нынешних приближенных к царю не жду. С горестью об этом речь веду. Зазорно мне, седому, затравленному волком с родных мест бегать да хорониться от клеветы с ликом, нахлестанным кулаком. Тебе спасибо за выручку, чем смогу, тем и поблагодарю.
- Семен пристально посмотрел на Голованова.
- Душно в горнице. Пойдем на волю.
- В ночной темноте они постояли на крыльце.
- Какая темень, боярин! – тихо сказал Семен. – Оторопь берет, пока на небо взора не кинешь. Звезды на нем яркие, каленые. Всей Руси они светят. Поглядишь – и на сердце легчает. Верю: никогда, боярин Макарий, ни от какой беды не сгинет Русь!

3

За околицей займища солеваров и кричников в густом пихтаче и сосняке бежит с торопливым говорком речка Студеница. Родится она из лесных ключей и родников. Вода в ней до того холодная, что хлебнешь – сразу зубы заломит.

За версту от ее впадения в Каму налажена на этой речке, среди соснового бора, плотина – запруда. Люди надумали, чтобы сила воды им на пользу шла и попусту не пропадала.

Речка выше плотины вольготно разлилась, превратила овраги в омуты. В бору папоротник, муравьиные кучи. На версты в нем вокруг – природные борти, а возле запруды повешаны на деревьях колоды ульев. Не сразу углядишь в бору пчельник – приземистую избу, омшаники и медуши.

Хозяйствуют здесь строгановские бортники, престарелые братья Фома и Михайло. Давние жители Камы. Подобрю-поздорову убрались от разных бед из-под Ростова Великого. Обжились по камскому укладу и прикипели к бортничеству. Уже при них Аника Строганов выбрал место для Кергедана, а после царской грамоты Фома и Михайло, вместе с Камой, землями и лесами, стали строгановскими.

Свайные столбы запруды покрылись зеленым, ласковым для глаза мхом, будто скатерками из заморского бархата. Возле плотины – две мельницы. Для пригожести около них насажены березы и черемуха, а ветлы выросли сами: наломанными сучьями строители крепили берега, чтобы не размывал их сброс воды. От крепежных сучьев и веток пошла бойкая молодежь, и заросли ветлами берега пруда и Студеницы до самого устья, где вливается в Каму ее чистая как слеза вода.

Второй десяток лет трудится Студеница на людей. Кидает воду на осклизлые лопасти водяных мельниц, заставляет ворчливые жернова в поставах дробить хлебные зерна.

На берегах запруды места приглядные. Сходятся сюда по вечерам молодые парни и девушки под сень берез, в кущи черемух водить хороводы.

В устье Студеницы – пригорок с редкими соснами. Охватили его мочажины с голубыми половиками незабудок. Давным-давно было на пригорке мольбище языческой чуди. Над зарослями вереска уцелел каменный идол по прозванию Золотая баба – грубое изваяние женщины с двумя младенцами на руках. Тут же доменка и две кузни со станками дляковки лошадей.

Здесь-то, на берегу, Иванко Строев с плотниками и мастерилом свою первую на Каме ладью. Работали с охотой. Иванко людей подобрал дельных, годами намного себя старше. Сноровка и обиход артельного старосты пришлись работникам по душе, дело подходило к концу.

Появление Иванка в Кергедане не прошло незамеченным для девичьих глаз. Частенько приходили девушки смотреть, как плотили и оснащали ладью для хозяйки. Борту уже украшены кружевной резьбой по дереву. На носу прилажен выточенный лебедь.

Предстоящий завтра показ ладьи на плаву волновал Иванка. Придирчиво осматривал свою работу, правил малейший изъян, но мало ли что случается в бегах на воде!

В сумерки артель разошлась по домам. Иванко долго беседовал с Досифеем. Его также волновал показ ладьи в деле. Иванко проводил и его, и неизменную Досифееву спутницу – волчицу Находку до мельниц уже в темноте и вернулся на берег, к ладье. Здесь и решил скоротать ночь у костра.

Кинул возле огня рядом на песок. Лежа смотрел на тяжелое черное небо с россыпью звезд. Превозмогая усталость, Иванко думал о родном доме. Как-то в нем? Мать, наверно, все слезы выплакала от разлуки с сыном. Жив ли отец? Опричники бросили его в поруб за чужую провинность. Встал перед глазами облик голубоглазой Грунюшки. Ведь суженой своей считал. Да где там! Отсюда, с Каменного пояса, рукой до Груни не достанешь.

Дремота осилила парня, подал голос поблизости филин. Иванко вспомнил поговорку, будто филин да ворон к добру не кричат, и сел. Заметил, что попритух костер, подбросил валежника, и пламя, набирая силу, вновь отчетливо выхватило из темноты очертанья ладьи. Филин опять загукал, и лишь тогда Иванко разглядел, что ушастый колдун сидит на голове каменного идола. Осмелев, филин слетел на прибрежный песок. Не складывая крыльев, он скачками приблизился к костру и, не мигая, уставился на Иванка желтыми глазищами. Иванко запустил в него головешкой, филин отскочил, захлопал крыльями и исчез.

Иванка пробрала дрожь. Что это, неужто дурное знаменье?

– Вот нечистая сила, напрочь сон отогнал!

Костер разгорелся ярко. Иванко подошел к воде, его тень легла черной полосой на отсветы огня.

С пригорка кто-то спускался. Иванко окликнул невидимого гостя.

– Ктой-то?

– А кому, кроме меня? – ответил из темноты старческий голос.

От кузнечной доменки шел с костылем старший из братьев-пасечников, дед Михайло.

– Углядываю, не спишь? – обратился он к Иванку.

– Прилег было, да филин разбудил. К самому огню, нечистая сила, подлетел.

– Эка невидаль! Не знаешь, поди, что его огонь подманивает, как мотылька. А место тут особенное. Вся лесная нечисть возле Каменной бабы в полночный час балуется. В стары годы, парень, здесь такое деялось, что и подумать нашему брату грех. Чудины тут страшным богам поклонялись. И все те боги из камня излажены.

Бортник стоял на свету костра босой, в длинной холщовой рубахе без опояски. Борода, как молоко. Такие же волосы, только в бровях еще приметна былая чернь.

– Брюхо потешил?

– Ушицу хлебал.

– Стало быть, пора тебе спать. Нечего прохлаждаться.

– Не спится, дедушка.

– Знамо дело, не спится. А ты осиль неохоту. Завтра у тебя какой день? Народ явится глядеть, каким ты мастером на нашей земле объявился. Надо быть в себе, с ясным взглядом на людях стоять. Сама Катерина – хозяйка придет. Не поглянется ей твоя поделка – и сраму не оберешься. Твоя затея и от нас с Фомой сон гонит. Увидел брат Фома, что не гаснет огонь на берегу, и дослал меня поглядеть, чего ты тут бродишь. Ложись! Твое заделье я сам покараулю.

Пасечник погладил ладью рукой.

– Побежит поутру. Чай, с божьей искрой излажена. Наши плотники тебя одобряют. Ложись, Ванюша, утро вечера мудренее! По звездам вижу, ведро завтра будет, но с подувом ветерка – самая тебе погода!

Иванко лег и отвернулся от огня. Пасечник пошевелил костылем головешки.

– В молодую пору, Ванюша, и я подле костра любил думу думать. Мы с Фомой не счесть сколь костров здесь спалили. Жили-то в лесах, поначалу всего опасались, а теперича, будто сам леший у нас на услужении. Он, знать, медок больно уважает, вот и не ссорится со стариками.

Бортник еще что-то говорил про свою жизнь на Каме, но Иванко спал.

4

Утром, при низовом ветре, солнце вставало в облаках.

Иванко с плотниками сняли ладью с упоров и перенесли на воду Камы. На веслах перегнали ее к причалу против городских ворот. Там шла обычная работа. Грузили соль, рогожи, лубяной товар. Из воды вытаскивали бревна разобранных плотов. В Кергедане все знали, что утром предстоит освящение и проба новой ладьи, и народ собирался к причалам спозаранок. Ребятишки шумными ватагами носились по берегу, запуская змеев-монахов. Иванко утром принарядился на пчельнике – надел новую кумачовую рубаху, подпоясался синим пояском, волосы до блеска протер маслом из лампадки.

Явился Досифей со своей волчицей, передал мастеру, что хозяева придут на причал после обедни прямо из храма. За разговором с Досифеем Иванко и не заметил, как прошло время. Услышал, как далеко на колокольне вздохнул большой колокол, как подстроились к его певучему ладу мелкие колокола подзвона и потекла над Камой вся голосистая праздничная медь.

Ветер свежел. По Каме перекатывались волны, и гребни их уже вспенивались...

Колокола еще звенели, а народ на берегу стал отвешивать поклоны: от городских ворот шел священник с крестом и кропилом, за ним – диакон с кадилом и чашей святой воды, а следом за ними, в окружении целой толпы девушек, Иванко угадал Катерину Алексеевну. Позади, держась вместе, выступали братья Строгановы, Семен и Григорий, в сопровождении Агтея Рукавишникова, Макария Голованова и целой свиты дворовых людей.

Иванко отвесил низкий поклон Катерине. Все остались у мостков и на гальке берега, она одна ступила на причал и подошла к ладье. Повернулась к мужу и деверю:

– Глядите, как ладно изукрашена. Мне глянется!

Григорий и взглядом не удостоил ладью. Он озабоченно смотрел на реку из-под руки:

– Непогода! Может, на завтра отложим пробу? Не ровен час, опрокинется. Освятим пока, да и домой!

Катерина сказала Иванку:

– Святить потом будем. Начинай пробу, мастер.

– Как велишь, хозяйюшка.

– погоди, Иван, – остановил его Семен Строганов, – неужто один хочешь плыть? Из Строгановых кого-нибудь возьми. Может, ты, Гриша?

Григорий замахал руками:

– Что ты, братец! Еще не освятили ладью, а ты – плыть? На волне меня тошнота одолевает.

– Сама сяду! Моя ладья – вот и погляжу, на что годится! – решительно произнесла Катерина.

– Господь с тобой, Катеринушка! – забеспокоился супруг. – Не дай бог, утонешь!

– Не тревожься, Гришенька! Сказывают, мужик один в ведре утонул, а баба из реки выплыла! Ну, с богом! – Катерина помахала мужу рукой и с помощью Иванка села в ладью. Оглядывая причал, увидела рядом с деверем строгановского Досифея. Она поманила его.

– Чего нахмурился, монаше? Садись со мной, ежели не робеешь!

– Это я-то робею? Пошто такое молвила?

– Садись, садись, я без обиды сказала.

Досифей занял место в ладье, волчица – за ним. Последним вскочил Иванко. Григорий опять закричал:

– Катеринушка! Сделай милость, сойди на землю. Сердце обмирает на тебя глядя!

– А ты, Гришенька, зажмурься!

– Пусть без тебя опробуют, а тогда уже и ты прокатишься.

Катерина только засмеялась и махнула рукой плотникам, державшим ладью. Судно отошло от причала, Иванко распустил парус. Ветер наполнил его, и ладья рванулась вперед. Мастер правил на стрежень реки. Ладья легко резала встречную волну, оставляя заметную водяную тропу за кормой. Катерина прижалась к борту и видела удалявшийся Кергедан. Ветер, свистя, бил ей в лицо. Ладья зарывалась в воду на быстром бегу, и тогда у бортов вспыхивали от брызг радужные искры. Иванко сам изумился, как далеко позади остался город, и повернул руль. Ладья накренилась и, взяв круто на борт, пошла обратно. Катерина от неожиданности вскрикнула и сразу засмеялась. Осмелев, она встала во весь рост, держась за кромки фальшборта. Из просветов в облаках как раз снова брызнул солнечный луч, и по золоченой дорожке стрення ладья опять пробежала мимо городка. С причалов донесло восторженные крики. Ладья пробежала вверх по Каме, миновала устье Студеницы, пригорок, дальние варницы – и везде на берегу был народ. Кто кричал, кто кидал в воздух шапку, кто махал.

У Иванка – сжатый рот, сощуренные глаза, капельки пота на лбу. Досифей не спускает с него довольных глаз, придерживает напуганную разворотами волчицу. Катерине стало холодно на ветру.

– Вороти домой, Иван!

– Присядь, хозяйюшка. Опять сейчас с наклоном побежим.

– Не потеряешь! Удержусь!

Ладья, послушная рулю, еще круче легла на борт, задела крылом паруса воду. Иванко выровнял ход после маневра и взял направление к причалу. И когда до берега оставались сажени, Иванко убрал парус, мастерски подвел судно к причалу, и десятки рук прижали ладью к бревнам. Без улыбки Катерина вышла из ладьи, с поклоном сказала Иванку:

– Спасибо тебе, Иван-мастер, за усладу! А теперь, батюшка, – обернулась она к священнику, – зачинай кропить святой водой ладью на доброе дело.

И когда дьякон зычным голосом начал ектенью, к Иванку подошел Семен Строганов, молча обнял его за плечи и тут же погрозил Досифею:

- А ты чего сидишь, будто прирос? Волчицу-то убери, а то окропят!
- Уходить неохота, хозяин. Вот бы нашим стругам такую легкость и ходкость!
- А мне Иван сие обещал, слову же его отныне, как своему, верю...

Глава восьмая

1

По глухой вычегодской дороге крытый возок волокля шестерка шустрых и сытых коней, запряженных гусем. Впереди тяжелого возка скакали четверо верших, а сзади еще шестеро.

После долгих дождей дорога для коней была нелегкая. Густое тесто глины в ухабистых колеях налипало на колеса.

День выдался хмурым. Ветер низко гнал по небу серые тучи, то и дело сыпавшие мелким дождем.

Дорога шла все время лесом и лишь изредка петляла по просекам и прогалинам, где березняк и осинник уже начинали выряжаться в пестрые осенние сарафаны.

Уже много дней наминал бока Яков Строганов на дорожных ухабах. Ехал из Москвы в Конкор, пускался в путь только в дневную пору, а ночами отлеживался на постоянных дворах. Крепко спать остерегался, памятуя о разбойных людях, которых на всякой дороге по Руси развелось больше, чем волков.

Покидая стольный град, Яков отслужил напутственный молебен и взял для охраны десяток вооруженных верховых. Все же не раз содрогалось его сердце, когда в вятских лесах приходилось слышать лихой посвист неведомых людей.

Ни за что не покинул бы Яков привычной московской жизни осенней порой. Гонец от отца со строгим наказом немедленно явиться в Конкор заставил его сесть в возок. Как послушаться родительской воли?

И зачем он мог понадобиться отцу так спешно? Сколько ни размышлял об этом Яков, догадаться не мог.

Минувшую ночь Яков Строганов скоротал в Соли Вычегодской, остановился в огромном родительском доме с башнями, где прошли его детство и юность, начались радости и тревоги жизни.

Показали Якову новый сольвычегодский собор, еще в лесах. Строгановская постройка, хотя старший в роде увел сыновей на Каму. Воспоминания нахлынули, когда Яков подъехал к дедушкиным соляным варницам. Яков вышел из возка, свернул с большой дороги и увидел знакомый берег Вычегды. Как в детстве, пламенел закат, в воде отражались те же ели, березы и ивы. Около дома лежал памятный с детства камень, прозванный Семеном вороньим, – на этом камне Яков, тоже по стародавней привычке, посидел перед тем, как войти в дом.

Юность, далекая и чистая! Трое мальчиков-братьев жили еще дружно, но и тогда Яков уже привыкал во всем уступать Семену, ибо Григорий вообще в счет не шел, считался маменькиным сынком и никаких мальчишеских требований братьям не предъявлял.

Ночью в опустелом доме Яков долго не мог заснуть, прислушиваясь к шорохам, скрипу половиц, писку мышей. Мысленно перебрал в памяти всех, кого знал и видел в родном доме. Предстал перед ним дед, Федор Строганов. Богатырь, уже сгорбленный старостью, но все еще ходивший по дому босиком в холод и жару. Когда дед бывал в дурном настроении, он мог у себя в доме отвесить любому встречному – сыну, внуку или домочадцу затрепину: не ходи, дескать, со мной по одной половине!

Внуки любили деда за то, что он знал множество былей о старине и даже умел сказывать былины под звон гуслей.

Как живая, встала в памяти Якова и бабка, вся в черном, будто монахиня. Она всегда шептала молитвы и наказывала внучат строго – за малейшие проказы ставила на колени перед иконами, притом непременно на сухом горохе. Бабка страдала всех божьим наказанием, корила грехами, больно ударяла по рукам четками.

Образ матери был для Якова каким-то призрачным. Хворая, часто плакавшая, она больше остальных детей любила Григория. Видно, ему одному и достался весь запас материнской нежности.

Просторный дом всегда был переполнен людьми. Больше всего в нем перебивало купцов, старух-странниц, богомолков и монахинь, всегда кишевших возле матери и бабки. Был среди этих «странных» людей один старец. Он постучался в ворота строгановского дома в бурную ночь и назвался Симоном-землепроходцем. Это он заворожил отца и деда рассказами про богатства камского края и Сибири. Симон остался в доме на долгие годы, стал в семье своим человеком, обучал ребят премудростям счета и грамоты. Помер он неожиданно и унес в могилу свою тайну, ибо никто не верил, что он действительно простой странник-богомолец, за кого себя выдавал...

А отец? Яков с горечью вспомнил, что Иоаникий Строганов всего один раз за всю жизнь погладил его по голове. Позже сыновья надолго потеряли отца из виду, когда тот отправился на Каму. С удивлением Яков сообразил, что последняя встреча с отцом была у них лет пятнадцать назад! Тогда старик навестил его в Москве.

Предстоящее свидание с отцом давало тайную надежду на раздел наследства. Может быть, Григорий наконец добился от отца согласия на этот раздел? Не захочет же отец перед смертью обидеть кого-либо из сыновей? Значит, если раздел близок, то близки и крупные деньги, которыми можно будет наконец распорядиться уже по-своему, потратить их на себя, а не на Семеновы выдумки?..

Повидаться с Семеном тоже хотелось. Какой он теперь? Сколько слухов ходит по Москве о его удали, бесстрашии и о его зазнабах; говорят ведь, что одна лучше другой!

А собственное будущее? В Москве у Якова жизнь тихая, но не в меру сытая и хмельная. Он водит хлеб-соль со всей именитой Москвой, ее боярами и купцами. Про боярскую жизнь знает все, но в последнее время не всегда поспевает даже на похороны своих бывших друзей – так много случается в столице неожиданных отпеваний!

Вначале любил обжорство на пирах, потом и пиры наскучили. Это от них завелись в его сильном теле разные недуги: очень ослабли глаза, стали отекают ноги, мучительная одышка от ожирения иной раз не позволяла даже поклон сделать. Слабость, ломота в костях, простудная хворь иногда на целые месяцы укладывали Якова в постель. Отцовское богатство отпирало перед ним любые двери, но, утомившись от столичной жизни, он стал рано мечтать о покое.

На дорожных ухабах Яков с тоской вспоминал домашние перины в своей тихой и жаркой московской опочивальне.

Отец женил Якова на пригожей дочери суздальского купца. Жена Серафима оказалась робкой и непрекословной домоседкой. Родила ему сына Максима и дочь, умершую в малолетстве, когда в Москве мор ходил на малых ребят – глотошная.

Мысли о доме неожиданно оборвались, когда дорожный возок тряхнуло так, что Яков стукнулся головой о крышу и в испуге заорал на кучера. Возок стал. Из-за слюдяного оконца Яков видел, как спешивались верховые. Кучер слез в самую грязь. Все столпились и загалдели у задних колес.

– Что там у вас?

Кучер виновато снял шапку:

– Ступица с корягой сцепилась.

- Пошто не глядел, куда гонишь?
- Вода в ухабе мутная. Не видать в ней корягу.
- Вот я вас, бездельников! Ночевать мне здесь, что ли, среди лесу?
- Сделай милость, хозяин, ослобони от себя возок.
- Али мужики обессилели? Дармоеды! Жрете хозяйское, а службу хозяину леший служить будет?
- Тяжеленько с тобой-то!
- Куда же здесь вылезать? Грязища-то какая! Еще возок зальет. Дурьи головы, не могли посуше где стать!
- А ты, хозяин, на нас кулем пади. Насухо тебя вынесем.
- Подходите все, принимайте на руки легче! Вот я вас! Легче. Да управляйтесь там с колесом поживей. Забыли, что ли, какими местами гоним? За любым пнем люди с топорами схорониться могут! Того и гляди, из-за вас, ротозеев, разбойники налетят!

2

Березы за монастырскими стенами стояли в осеннем уборе. По утрам с их ветвей спадали желтые листья, влажные от холодных утренников.

На зорях над Конкором звучали голоса перелетных птиц, и особенно тоскливы были прощальные крики лебедей.

Разгуливала осень берегами Камы, причудливо расписывала остатки листвы, потерявшей яркость зелени. Против крепости на заречной стороне грустили в пустых лугах стога, похожие на шлемы, забытые в поле богатырями.

Конкор ждал зимы, запасался дровами на все долгие месяцы, когда по белым просторам заведут свою песню выюги и бураны...

3

Вскоре после возвращения Семена Строганова из Кергедана причалил у стен Конкора струг воеводы Соликамского – Дементия Запарина. Прибывший послал к старому хозяину сотника, передать привет и просить о приеме. Посланец вернулся к воеводе с ответом, дескать, Аника Строганов болеет, сам приветить гостя не в силах и просит, чтобы слуга царский изъяснил милость и повидался с сыном Семеном, который в полуденный час будет поджидать его в своих покоях.

Выслушав такой ответ, Запарин растревожил себя гневом и ругательски изругал Анику за неучтивость к высокому воеводскому сану. Но, остудив свой гнев словами потребными и непотребными, Дементий Степанович к полудню оделся в пышные парчовые одежды и отправился с телохранителями на свидание с Семеном Строгановым.

Прием был подчеркнуто сухим и неприветливым. Гостя ждали не в большой избе Аники Строганова, а в зимних хоромах, срубленных еще в тот год, когда Аника вызвал сына Семена на Каму из Соли Вычегодской. Тогда хоромы для него рубились наспех, не то что нынешние, в Кергедане...

Семен, не требовательный к удобствам и не любивший роскоши, мало заботился о благолепии собственных покоев в Конкоре. У него в доме была большая, но скромная гостиная, где он принимал деловых посетителей, приезжих купцов, чужих и своих приказчиков; но, зная, что купец купца оценивает сперва по одежке, Семен велел поставить в углу гостиной против киота с иконами астрономические часы аглицкой работы, стоившие баснословных денег, развесить по стенам чертежи государства Московского, исполненные царскими мастерами, да еще

кинуть с нарочитой небрежностью две арабские сабли на текинский ковер – они свидетельствовали и малоопытному глазу, что для Семена Строганова тысячи золотом – не деньги!

В этой гостинной Семен и поджидал гостя-воеводу.

У того захолонуло сердце, когда, подойдя со свитой к крыльцу, он не увидел вышедшего для встречи хозяина. Злоба налиwała лицо Запарина кровью, пока он величественно поднимался по ступеням. У самых дверей поставлены были два ратника в голубых кафтанах и с алебардами. Они отворили перед воеводой дверь, и, как только он вошел в сени, ратники скрестили алебарды, не допуская свиту последовать за воеводой даже в сени.

В отворенную низковатую дверь из сеней в гостиную воевода просунул вперед себя высокую горлатную шапку, шагнул, опираясь на посох, в палату и, отдуваясь, остановился у порога. Он сразу увидел Семена Строганова у стола. От новой хозяйской неучтивости у Запарина дух захватило. Поняв, что горлатную шапку и посох принять здесь некому, гость сам поставил свой головной убор на лавку и перекрестился на иконы в киоте. Только тогда Семен встал из-за стола. Гость и хозяин поклонились друг другу одновременно.

– Садись за стол гостем желанным, царский слуга.

Запарин, сдерживая негодование, сел и прислонил посох к столу. Погладил бороду, огляделся. Семен наполнил медом из затейливого жбана две серебряные чары.

– Прошу прощения, воевода. Хозяйки, как ведаешь, у меня нет, а потому чару с медом тебе самому придется со стола принять.

– Благодарствую на привет!

Но чары не принял и сидел в деревянном кресле у стола окаменевшим истуканом, не начиная разговора.

Хозяин, внутренне торжествуя над унижением своего недоброжелателя, счел вступление к беседе окончанным и сам пришел на помощь рассерженному и обескураженному гостю.

– Благодарствую, что о нас, людишках торговых, изредка памятуешь. Винится батюшка, что немощь телесная не позволила ему свидеться с тобой, воевода Соли Камской.

Запарин, отдышавшись, сухо осведомился, чем же страдает Аника Федорович.

– Сам знаешь, на старости лет всякий лишний шаг в постель валит. Остуда в груди душит.

– Баню надо. После бани – распаренную мяту на грудь. В пору, как лист желтит, застуду принимать не следует, особенно когда годы не малые. Пошто же не бережется Аника Федорович?

– Не приобьют батюшка здоровье оберегать.

Семен придвинул налитую чару воеводе. В серебряные стенки сосуда были искусно вделаны крупные жемчужины.

– Изопьешь – чару эту с собой увезешь. Тебе в подарок от батюшки приготовлена.

– Отказываться не стану. Мед беседу веселит, а подарок строгановский приму за честь. Передай батюшке, что-де воевода Запарин чару принял и благодарить велел. Давненько крепость вашу посетить собирался.

– А не навещал.

– Недосуг было. Спонтанно оказалось, вот и приплыл. Окромя того, дознаться довелось, что Строгановы не во всякую пору гостям рады.

– Стало быть, пустой молве веришь? Уж поверь, что купцы Строгановы гостей со двора не гонят, особенно званных.

– Меня каким гостем считаешь?

– Скажу – званным, не поверишь. Скажу – незванным, разгневаешься.

– Ну и молвил, прости господи! Видать, что надумаешь, то сразу и на язык кладешь?

– Словами деда отвечу: ложь беседу удлиняет, правда – укорачивает. Так нас Федор Лукич учил.

– Стало быть, велишь поскорей объявить, с каким царским поручением я к вам прибыл? Великий государь...

– Ты скажи без помину царского имени. Ибо еще мне в уши запала одна молва пустая, будто грозился воевода Соли Камской золото в карманах строгановских пересчитать.

– Не верь сей небыли.

– А мы с батюшкой так поняли, что затем-то в осеннюю пору Строгановы тебе и понадобились. Стало быть, велишь из карманов золотишко наличное перед тобой на стол выложить? Так, что ли?

– Насмешкой гостя потчуеть?

– Медом потчую, какого в Соли Камской не испробуешь. Подставляй свою чару, еще налью.

– Изволь, подставлю, хотя учтивости в тебе не больно-то много. Чего это ты меня так оглядываешь?

– Учтивости в нас нет оттого небось, что в Москве не живали. Сосны камские учтивости здесь не требуют. А оглядываю не тебя, а узор парчовый на твоём кафтане.

– Узор хитер. В индийских полуденных землях выткан... Государем пожалован за верную службу. От его имени и прибыл сюда с двумя наказами, касаемыми вотчин и дел ваших, строгановских.

– А ты не обмолвился, воевода? Наказы нам давать волен только государь, да и те не всегда удастся нам исполнять, ибо кочевники близко, приходится нам порою голую жизнь спасать, а уж потом государевым людям радеть, наказы их выполнять.

– Опасно говоришь.

– Как умею.

– Так изволь послушать, с какою царской волей к вам воевода Соли Камской пожаловал. Ден пять назад неспроста наведались ко мне посланцы тобольского хана Сибирской земли. Сказывали, что летось людишки твои на Полюде татарскую княжну Игву изловили. Желает хан Сибирской земли увидеть ее из плена вызволенной и на том мне, как царскому наместнику, бьет челом.

– Пошто же хан не к нам посланцев направил?

– Да, видать, по недомыслию своему почитает Строгановых царскими слугами, мне подвластными. Желает хан, чтобы плененную татарку я ему из рук в руки передал. Ежели мы, сиречь воевода и строгановские люди, желания его не исполним, грозит он войной на камский край из-за пленницы идти, поелику Игва-княжна молодшего ханова сына невеста. Хан обещался сперва мою крепость спалить, Соль Камскую, а потом и за ваши городки принятися. Орда у него превеликая, изжарит он нас всех, как цыплят к обеду, посему совет тебе подаю: отпусти со мной пленницу.

– Строгановы, воевода, не чужими советами живы и не страхом перед ордами нагайскими. Черт пугает, а бог милует. Игву, говоришь, с тобой отпустить? А ты моим людям ловить ее помогал? Воевода Орешников, старик стариком, и то после полонения нами Игвы шайки ее из лесов чердынских выкуривал да еще велел владыке за людей строгановских соборно богу молиться, зане град и крепость от поджога спасли. А ты, гляжу, за нашей спиной ханскую дружбу купить надеешься? Не прогадал бы!

– Надежду имею воеводить в крае миром и с ханами сибирскими не задираться. У меня ратных людей для войны с ними маловато, сам знаешь.

– Эх, не воеводскую речь повел! Всякий вор норовит расплохом брать, а в расплохе, говорят, и медведь труслив. Орды ханской испугался? Дело твое, только сделай милость, нас и людей наших страху не обучай.

– Неужли Игву из полона так и не отпустишь?

– Нет.

- Ради нее позволишь орде государеву крепость Соль Камскую изничтожить?
- Твоя воля крепость оборонять, на то ты и воевода. Хвастать любишь, как новгородцев уму-разуму научил, а здесь ордынцев испугался?
- А ежели я именем царским повелю тебе освободить Игву и ко мне в крепость отослать?
- Именем царским? Чудно! Очнись, воевода, ежели задремал, оглянись вокруг себя. Кто здесь, в крае, именем царским хозяином поставлен?
- Все равно, приказ воеводский для тебя – закон. Добром не отдашь пленницу – силой отниму.
- Да неужто? Может, и меня в Соль Камскую пленником повезешь? Только довезешь ли?
- Людей своих на царского воеводу натравишь, будто на хана татарского? Думаешь, у государя на злодеев цепей не хватит?
- Хватит цепей, чтобы иных кобелей ретивых на привязи держать.
- В ссору лезешь? С царским слугой?
- Слуги царские тоже разные бывают, много их в здешнем крае перебивало. Иные, кто духом посмелее да разумом покрепче, здесь обживались и государеву службу с пользой несут. А тому, кто на любое чихание ордынских ханов со всех ног здравствовать летит, на здешней земле не усидеть. Хану сибирскому так скажи: ежели вздумает воевать, Строгановы готовы с его ордой силой помериться. На том и крепости наши стоят, тем же здесь и народ жив.
- Ну, Семен Аникьевич, и удал же ты на слово! Может, покамест о другом разговор заведем?
- Испробуй.
- Не утрашусь небось... Недавно дознаться нам довелось, что братец твой Григорий, вместе с тобою, царский закон нарушил. Татарская княжна Игва, невеста ханская, у меня в разговоре – только присказка. Сказку сейчас зачну сказывать.
- Воля твоя – сказывать. Наше дело – послушать.
- Строгановых царь милостью жалует, а они на землях дарованных злой крамоле государевой потакают.
- Понятнее сказывай. Со Строгановым Семеном разговариваешь, он не дьяк приказный, крамолу разбирать да судить.
- Меня быстрым словом не запугаешь. Я здесь над всеми верховодить поставлен. Даже перед Строгановыми молчать не стану, не чердынскому воеводе чета. За хулу и брань твою, за невежество твое передо мною государь с тебя и голову снять не задумается.
- Пока твое пророчество сбудется, я тебя сегодня, сей же час, во всей твоей иноземной парче при народе в Каме искупаю.
- Бога побойся! На кого замахиваешься? Донесу царю!
- Сказывай, Дементий Запарин, свою сказку да отчаливай живее, на грех не наводи!
- Скажу, словом своим не подавлюсь. За боярином Головановым прибыл. Лютого разбойника, вора государева укрываешь.
- Не укрываю, а хлеб-соль с ним за одним столом жую. Голованова разбойником и вором зовешь?
- Великий государь наш так прозвал крамольника, и мы, рабы государевы, по-иному молвить не смеем.
- Как проведаль, что боярин здесь?
- Слухом земля полнится.
- Имя доносчика назови. Промолчишь – трясти начну, парча индийская порушится.
- Что ж, таить не стану. Так знай, что от самого Строганова, брата твоего, Григория Аникьевича, посланец ко мне наезжал. С обиды великой донес на тебя родной брат твой, чтобы царским ослушником не обернуться. Знай также, Семен Аникьевич, ежели не выдашь мне

боярина Голованова, врага царского, я весть о том в Москву подам, и царь Иван Васильевич опричников сюда пошлет.

– Кому Голованов поперек дороги стал – дело боярское. Но Строгановым Голованов – не враг, а друг.

– Не смей такое молвить!

Запарин схватил свой посох и стукнул им об пол.

– Что? В моем доме мне этой палкой грозишь?

Семен выхватил у воеводы посох и в гневе переломил о колено.

– Вот! Получай свою опору! А теперь глянь на иконы да ступай себе с богом, только о порог не запнись. К Строгановым больше не навещайся.

– Меня не признаешь, царя признаешь. Не выдашь Голованова?

– Не выдам.

– Послушай, Семен Аникьевич! Али ты о двух головах? Хоть людишек и добро его отдай, а я донесу в Москву, будто помер боярин в одночасье.

– Добро и людишек просишь? Только-то? А ты помогал это добро наживать? Покойного Гаврилова-воеводы добро к рукам прибрать сумел, стало быть, понравилось чужое? За Головановским потянулся? Коротковаты лапы у тебя, а с сего часа – еще короче станут. Ворочайся к себе в крепость и сиди в ней отныне тихохонько. Высунешь нос – дверью защемит!

– погоди, хозяин! Погорячились мы. Слова бранные нам говорить негоже, не смерды. Пора остыть. Так ведь?

– Остывай. Молча слушай меня. О том, кто ты такой, знаю, и всякий твой шаг мне ведом. Гонец твой с доносом про Голованова недалеко от крепости ускачет. Сам вздумаешь туда со стражей отправиться – гробов прихвати, и себе и стражникам. Увидишь, кому в крепости твоей люди служат: воеводе или Строганову. Не узнаешь, чья рука на твоей шее петлю затянет. Грех жадности в тебе велик, а сам ты мал. Против Строгановых цена тебе, во всей парче твоей, – тьфу! Нищий ты, и мог бы на бедность свою у нас кое-что вымолить. Дали бы, пожалуй, не скупясь. Не впервой нам царским слугам милостыню подавать. Но ты по-иному зашел. Нос задрал. Посохом стукнул. Царским именем лапу нам в карман было запустил по недомыслию своему. Пеняй теперь на себя да подумай дома, на досуге, как вину свою перед нами искупить. Теперь помни: Строгановых где бы в пути ни встретил – ворочай хоть в самый глубокий сугроб!

– Откланяться дозволишь?

– Да уж теперь не торопись. Все же гость в моем доме! Голодными гости наши из дому не выходили. Чего это ты с лица побелел? Трапезничать со мной страшишься? Совсем ты оплошал, воевода! Нечто в своем доме гостей отравой кормят?

– Что же, дозволю тогда надежду иметь, что впредь у Дементия Запарина с именитыми людьми Строгановыми дружба заключится? В том и руку свою тебе даю!

– Нет уж, покамест уволь! В чистоту слов твоих поверю, когда их проверю. Волком перед нами себя обозначил, получай и в ответ оскал. А трапезничать пойдем! Уха тебе готова да перелетные гуси на жарено. Милости прошу к столу, воевода Соли Камской!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.